
Михаил РОДИОНОВ

ТЯМЛЕВЫ

Конспект романа

Всякое сходство персонажей с людьми — обманливо.

1. Ленинград

Сколько Тямлев помнит себя, его куда-то несли или везли. Несли двухлетним в байковом одеяле мимо заснеженного, почти еще блокадного Мальцевского рынка по Бассейной, везли младенцем в тряском поезде из Ленинграда в Москву, перемещали в звенящем пустом трамвае над черной Невой по Дворцовому мосту. Катали по жаркому Лисьему Носу в коляске мотоцикла, упоительно дышавшего бензином. Отправляли в школу на ледяном пятом троллейбусе через весь город, с Конногвардейского бульвара до Смольного.

Он ощутил самостоятельность, когда начались его долгие прогулки по гранитным набережным Мойки, Фонтанки, безымянных каналов и, конечно, Невы. В пустой голове сами собой возникали слова, под ногами рождались меры и строки: «Заветный пароль унесли адмиралы. Прохожий молчит. Говорят минералы». Действительно:

Чего прорицают былые авгуры?
Глагол пронизает немые фигуры
бесследно, безмолвно. Единственный отзыв
идет от пространства гранита и бронзы.

«Пусть бронза не минерал, — думал Тямлев, — но зато говорящие минералы, вернее, минералы, поющие куплеты, существуют, я украл их у Достоевского. Всякий может открыть „Бесы” и убедиться».

Каналы были безымянными, потому что, кроме Обводного и Крюкова, их лишили настоящих имен, наделив случайными фамилиями — комиссара Круштейна, москвича Грибоедова, не тронув только канавки — Зимнюю и Лебяжью. До рек как нерукотворных водных объектов руки не дошли, но сухопутные магистрали, от закоулков до бульваров и площадей, переименовывались беспардонным образом. Вот и Бассейную, ту самую, где в поэме Маршака жил человек рассеянный, нарекли улицей поэта Некрасова, а Конногвардейский — бульваром Профсоюзов. На этом бульваре в обширной коммунальной квартире Петр Тямлев проживал с самого рождения, окруженный родней и соседями.

Михаил Анатольевич Родионов родился в 1946 году в городе на Неве. Окончил восточный факультет ЛГУ, работает в Петровской кунсткамере — Музее антропологии и этнографии Российской академии наук. Этнограф-арабист, доктор исторических наук, профессор. Первые путевые очерки опубликованы в «Неве» в 1965-м и 1971 годах, циклы стихов — в «Знамени» (2007), «Дне поэзии» (2009), альманахах. Живет в Санкт-Петербурге.

Квартира казалась ему бесконечной, он представлял себя мореплавателем Гулливером, заброшенным сначала в страну великанов, а потом, когда немного подрос, — в смешанный мир великанов и лилипутов: в известной ему детской версии Свифта не было ни грязных йеху, ни глупых ученых, ни мудрых лошадей. Были великан отец в черно-белой военно-морской форме, напоминавшей обертку шоколада «Золотой якорь», и нарядная мать в шуршащих концертных платьях и фетровых шляпках — на одной из них сидела бело-голубая птичка, поблескивая бусинками глаз; была тетка Веруня, или Танта, сестра отца, щебечущая на разных языках и смеющаяся. Хотя отец и мать редко репетировали дома, в комнатах Тямлевых шумели моря Европы, озвученные мужественным кларнетом и нежным сопрано. А какие колыбельные пел ее голос своему Петруше! «Что ты жадно глядишь на дорогу»; «Помню, я еще молодухой была»; «Зачем тебя я, милый мой, узнала»; «Матушка, что во поле пыльно»; «Разлука»; «Пряха»; «Как на кладбище Митрофаньевском отец дочку зарезал свою».

В другом отсеке квартиры тоже гуляла водная стихия, дышали южные океаны запахами ванили, кардамона, тмина, солода, капитанского рома с очищенной водкой. Там жил, а точнее, шумно появлялся мореман Тамбовцев, третий помощник капитана, плававший от Балтийского торгового флота в настоящую заграницу. Возвращаясь из дальних рейсов, маленький, но бурный Тамбовцев — его все так и звали по фамилии — задаривал Петрушу пятиконечными морскими звездами, сушеными и пупырчатыми, морскими коньками и морскими огурцами. Шедший от них легкий дух гниения заставлял чихать общего кота Махно: мореман назвал рыжего бандита в честь выпускников родной Ждановской мореходки в Мариуполе, окрещенных невесть почему «махновцами». Тамбовцев окончил и Херсонское мореходное училище, но прозвище херсонцев хранил в секрете. При чужих Махно превращался в Мурзика. Обитатели квартиры считали, сколько раз чихнет кот, заключая пари на чёт — к удаче и нечет — к беде.

Плоды океана не давали покоя и главной кормилице кота бабе Ньюше. Петруша был убежден, что именно с нее художники детских сказок списали бессмертный образ Бабы Яги: вислый нос, крючковатый подбородок, в руках швабра. Ни к кому не обращаясь, баба Ньюша ворчала, что подводная нечисть душил комнатные растения и сушит японский питьевой гриб в банке, привезенный с Дальнего Востока ее покойным мужем-управдомом. «Ишь, чего выдумал, каменист», — шамкала она, упрекая Тамбовцева его партийностью, хотя в коммунистической партии состоял не он один. Состоял и отец Петруши, вступивший в нее на флоте в блокадную зиму 1942 года, и сам покойный управдом. Состояли в ней и насельники крайней по коридору несчастливой комнаты, откуда каждого из них уводили под конвоем, а дверь опечатывали бумажкой с печатями. Последним там жил воинствующий атеист, лектор от общества «Знание», сгинувший без следа, как все остальные. С тех пор жилплощадь пустовала: была признана сырой, темной, в общем непригодной для проживания.

Загадочней всех о морских звездах и огурцах выразилась старуха Гольцева: «Тамбовцев, почему ваши *фрутти ди маре* пахнут нюхательной солью?» Вопрос риторический, никто в квартире не знал, как пахнет нюхательная соль. Мужчины обращались к Гольцевой по имени-отчеству — Надежда Эммануиловна, баба Ньюша звала ее «барыня», Танта Веруня — «графиня», на что старуха однажды возразила: «Если титуловать, так княжна!» И улыбнулась во все лошадиные зубы. Петруше велела называть себя *гранмаман*, а его самого в глаза и за глаза именовала Пьером.

Французский уклон объяснялся тем, что Гранмаман вела подпольную французскую группу для дошкольников («Я ничему не учу, а просто гуляю с соседскими

детьми!»): три девочки, четверо мальчиков. Они действительно много гуляли по бульвару, набережным и Александровскому саду, распевая под руководством Гранмаман морские песни на французском; Тямлев на всю жизнь запомнил «Chanson de pirates», «Les filles de La Rochelle» и «Le loup de mer»¹. Эти песни примиряли его с французским языком, казавшимся несколько легковесным, ибо, мечтая стать капитаном, он больше склонялся к английскому, на котором с ним говорил отец. В комнате Гранмаман дети разыгрывали в сценках басни Лафонтена, декламировали Виктора Гюго. Сидя в кресле с прямой высокой спинкой, которое называла вольтеровским, Гранмаман дирижировала представлением, сдувала папиросную бумагу с томных маркиз и голоногих кавалеров из толстых альбомов, учила манерам, когда хмурая баба Ньюша вносила чай и дети доставали свои бутерброды.

Вместе с товарищем из группы, златокудрым Николаем Николаевичем Ролли, поздним сыном знаменитого хирурга, замешанного в компанию врачей-отравителей, Петруша решил бежать из дома на остров Тайвань. Цель была благородной — свергнуть диктатора Чан Кайши, обстреляв его отравленными стрелами. Герои смастерили лук и стрелы с наконечниками из патефонных игл; углядев в атласе Таймыр, Петруша принял его за Тайвань, тем более что по радио постоянно упоминалась комедия Александра Галича «Вас вызывает Таймыр», и это название было на слуху. Не хватало только яду и денег на трамвай. И тут в начале темной, снежной и морозной весны умер Сталин. Жильцы тямлевской квартиры встретили это известие в коридоре. «Надежда Эммануиловна, — спросила Петрушина мама, — почему вы плачете?» — «От облегчения, Варя», — ответила Гранмаман и размашисто перекрестилась. Ламповый приемник «Москвич» всю ночь передавал комментарии на разных языках.

Мерзлый город покрылся траурными флагами; люди надели красные нарукавные повязки в черной окантовке; Петруше на воротник плюшевой шубы укрепили три тоненьких шерстинки — черную, красную и снова черную. Впрочем, план заговора оставался в силе, пока его не сорвал Николай Николаевич Ролли. Накануне избранной даты он принес в группу набор серебряных столовых приборов в обитой черным бархатом коробке и, собрав вокруг себя мальчиков, громко объявил: настала пора немедленно покончить с девчонками, зарезать их и съесть! Девочки услышали, всполошились и пожаловались Гранмаман. Ее вердикт был скор и суров: Николай Николаевич Ролли должен покинуть группу навсегда. Не помогло заступничество матери несостоявшегося людоеда, живо изображавшей, как Николай Николаевич плакал и убивался, узнав о смерти вождя. В самом деле, его траурная повязка была самой широкой.

Уже летом из лагерей стали возвращаться не только уголовники, но и политические. Одна из них — со скрюченными пальцами на правой руке — подошла к Гранмаман на бульваре и весело пела с детьми французские песни. У людей появились новые темы для разговоров. По указанию редакции Большой советской энциклопедии, разосланному подписчикам, Танта Веруня вырезала бритвой статью «Берия Лаврентий Павлович» и клеила на ее место новую страницу про Берингов пролив.

Тямлев пошел в школу, где к тому времени отменили отдельное обучение и ввели форму для мальчиков, очень похожую на гимназическую. Учился легко, получал пятерки по всем предметам, кроме чистописания: не умел следовать прописям в начертании нажимных и волосяных линий, неотвратимо расплывавшихся на рыхлой послевоенной бумаге. Появились школьные друзья. Белобрысый хулиган Генка Эвальд учил Тямлева подкладывать боевые патроны под трамвай, а охотничьи капсулы, снаряженные канцелярской кнопкой на пластилине, под нож-

ки учительского стула. Возник любознательный сосед Гера Дубин, прозванный однокашниками Герасим-и-Муму, сокращенно Мум.

Петруша включился в общественную работу: сбор макулатуры. Ему нравилось обходить квартиры в поисках ненужных жильцам книг и журналов, оставлять в школе основную бумажную массу и уносить домой самое интересное. Первый его случайный улов удостоился похвалы родителей: кроме подшивки «Нивы» за 1905 год, он спас от гибели гимназический учебник географии Российской империи, либретто оперетты «Иванов Павел» 1913 года и сборник стихов «Ленин» репрессированного Николая Клюева. «У мальчика чутье!» — восклицала экспансивная Танта Веруня.

У мальчика открылась также утомительная склонность рифмовать по всякому поводу и просто так, что приносило ему радость и огорчения. В семь лет он умилил Танту и даже Гранмаман, сочинив четверостишие:

Когда выхожу на прогулку,
шепчу хлебопекам с тоской:
«Верните французскую булку!
Зачем ее звать городской?»

Тогда до булочных докатилась последняя сталинская волна идеологических переименований. В духе борьбы с космополитизмом и православием французскую булку перекрестили в городскую, пасхальный кулич — в кекс весенний, а постных жаворонков, выпекаемых к 22 марта, — в печенье фигурное.

Чуть позже, вид из окна — бульвар и Махно, взбирающийся по стволу, — вдохновил Тямлева на более масштабное произведение:

В бутылке, как в зеркале, вижу
дерево, кошку и крышу.
Дерево пляшет под ветром,
крыша сложилась конвертом,
кот развалился на крыше,
рыжий.

За эти вирши мореман Тамбовцев подарил юному поэту плоскую бутылку коричневого стекла из-под виски «Лонг Джон»; на этикетке колченогий пират Джон Сильвер — Петруша уже прочитал «Остров сокровищ» — держал на плече большого попугая с мощным клювом, точь-в-точь как у бабы Ньюши. Однако не всегда процесс сочинения заканчивался столь удачно. Так, желая поделиться с Гранмаман восторгом внезапной рифмы, Петруша воскликнул: «Ваши прашуры вымерли, как ящеры!», на что получил сухую отповедь: «Не ваши, а наши, да и живы они».

Тямлев-младший родился 30 октября, в день рождения Военно-морского флота, и это двойное торжество отмечалось в их квартире с особенным размахом, не хуже чем Новый год. Баба Ньюша готовила холодец с лимоном; Гранмаман пекла торт наполеон, Танта Веруня — припорошенный сахарной пудрой хворост, Тамбовцев украшал стол ямайским ромом, рислингом и сыром рокфор, к которому имел особое пристрастие. Отец добывал копченую колбасу сервелат, пахнущую мускатом и коньяком, осетрину и балык в пергаментной бумаге, бутылки крымского шампанского, а также воблу для кота. Мама выкладывала яркие картонные коробки шоколадных конфет из театрального буфета, мандарины с апельсинами, а однажды принесла благоухающий ананас, рифленый, как осколочная бомба, с засохшим

ирокезским чубом на макушке. Петруша задувал свечи на торте и зажигал бенгальские огни. В отличие от взрослых, он не помнил голода, но разделял общую радость обильного застолья и тостов, в которых непременно упоминались блокада, война, фронтовое братство. Однажды для развлечения гостей он запел, перевирая известную песню: «Парня встретила дружная фронтовая свинья», что очень обидело маму. Отец тогда сказал ему: «Запомни, женщины не выносят абсурда».

Осенью родители часто уезжали на гастроли, «убывали в служебные командировки», как говорил отец, и не всегда могли присутствовать на дне рождения сына. В таких случаях они заранее готовили подарки, которые вручала за них Веруня, слали фототелеграммы с рисунками, старались позвонить, и мама пела в трубку. На восьмилетие они твердо обещали прилететь из Крыма сразу же после торжественного концерта по случаю столетия севастопольской обороны.

В ночь на двадцать девятое страшно закричал Махно, завыл по-собачьи. Кота никак не могли успокоить. Он ходил взад-вперед мимо тямлевских дверей и рвал когтями обои. В квартире поселилась тревога, хотя женщины продолжали предпраздничные хлопоты. Утром тридцатого к Тамбовцеву заглянул приятель-радиотехник с Ленинградской военно-морской базы, выпил полстакана водки, не чокаясь, и шепотом сообщил, что накануне в половине второго ночи у Госпитальной стенки в северной бухте Севастополя взорвался линкор «Новороссийск». Погибло более шестисот человек. Потрясенный Тамбовцев уверял Танту Веруню, что ее брат и невестка не могли находиться на корабле в момент катастрофы, они вот-вот позвонят. В тот день Петруше надарили много подарков, среди них серебряный медальон от отца и карманные часы с крышкой — от матери. Ни звонков, ни телеграмм не было.

Посреди бессонной ночи пришли двое сослуживцев отца из Адмиралтейского оркестра и объявили, что Варвара Павловна и Иван Владимирович оставались на линкоре по приглашению капитана Зыкова и матросов музыкантской команды; погибли все. Петя сначала даже не понял, что речь идет о его родителях. Праздник обернулся поминками. В большей из двух тямлевских комнат накрыли главный стол, второй был устроен у Тамбовцева, третий — на кухне для недолгих визитеров, бормотавших соболезнования, выпивавших поминальную и уступавших место другим.

В головах длинного стола стояла большая фотография матери и отца и букет белых роз в хрустале. В шуме голосов Петя разбирал лишь отдельные фразы: «Ее серебристое сопрано хрустального тембра простиралось до фа четвертой октавы... Аделина Патти, итальянская школа, нежный нижний регистр... Красота голоса зависит от строения тела и легкости характера... Он как никто держал темп, его кларнет вел за собой весь оркестр... Одно дело играть самому, но он умел и научить других... Оба не дожили до сорока... При глубоких нотах она бесподобно ставила гортань на якорь...»

Махно ходил из комнаты в комнату с воблой в зубах, но ничего не ел. У Тамбовцева мужчины в черных кителях и бушлатах, разминая папиросы и раскуривая трубки, поминали погибших, но больше говорили о катастрофе. Оказалось, что линкор «Новороссийск», самый мощный боевой корабль Советского Союза, это старый итальянский дредноут «Джулио Чезаре», или «Юлий Цезарь», бесславный участник обеих мировых войн. Петя вспомнил, как в летние каникулы они плавали из Адлера в Ялту на белоснежном лайнере «Россия», и он спросил родителей, что значит кудрявый латинский вензель «АН», украшавший матовые стекла корабельного ресторана. «Адольф Гитлер», — отвечал отец. Так назывался пароход при нацистах.

Хвалили плавные обводы итальянского корпуса, хорошую скорость, мощную броню и надежную защиту от налипания ракушек. Ругали вице-адмирала Пархоменко, остановившего со страху буксировку линкора на мелководье и запретившего эвакуацию личного состава: вот откуда такие потери. Сомневались в боеспособности советского военно-морского флота: «„Севастополь” разваливается, „Октябрьскую революцию” пора списывать!» Оглушенный происходящим, мальчик не понимал, что речь идет всего лишь о старых линейных кораблях «Севастополь» и «Октябрьская революция», она же «Гангут».

Искали причину взрыва. Донные мины? Возгорание пороха в зарядных погребах? Большинство склонялось к тому, что это диверсия: не стерпев национального унижения, итальянские подводные диверсанты уничтожили своего «Юлия Цезаря» прямо в логове врага. Называли даже руководителя операции — легендарного Джунио Боргезе по кличке Черный Князь. В самом деле, почему все итальянские суда спешно покинули порт накануне взрыва? И не странно ли, что «Новоросийск» погиб на том же самом месте, где в 1916 году взорвался другой линкор — «Императрица Мария», известный любому советскому школьнику по книге Анатолия Рыбакова «Кортик» и одноименному фильму?

Петя уснул и проспал до полудня. Во сне мучили услышанные фразы, он плохо понимал их смысл, но запомнил накрепко, как запоминал стихи и разноязычную лексику. Проснувшись, он обиделся на родителей, решил, что будет считать их убывшими в длительную командировку, откуда не доходят письма, и сочинил тайное двустушие: «Мои родители усопли. К чему жевать тоску и сопли?» «Главное — не проговориться Танте, — повторял он сквозь слезы, — ведь женщины не выносят цинизма».

Вышел в кухню, где женщины мыли посуду после вчерашнего. Вытирая бокалы, Гранмамман сказала ему, как взрослому: «Крепись, Пьер, октябрь — грозный месяц, а ты теперь двойной сирота». Танта Веруня пояснила: «Твой папа и я тоже сироты и даже больше, мы вообще не знаем, кто наши родители». Оказывается, после ухода интервентов из Одессы в девятнадцатом году их нашли военфельдшер Виктор Францевич Клемент и его жена Ева. Бездетная австро-польская чета стала их опекунами, увезла в Ярославль и записала Тямлевыми, белорусами.

— Почему Тямлевыми?

— По записке в Ванином медальоне: «*Вера двух лет и Ваня трех лет, дети Владимира Тямлева, молотобойца*». Записка пропала, а медальон — вот он, у тебя на шее. — Веруня всхлипнула, обняла племянника, щелкнула серебряной крышкой, и на Петю кротко взглянул седой Николай Чудотворец, покровитель моряков и детей.

— А почему белорусами?

— Виктор Францевич рассудил, что Тямлев происходит от белорусского «тямливый» — смысленый, удачливый, наделенный тямой. — Веруня тяжело вздохнула. — Как в воду глядел. Если бы записал нас австрийцами, то поехали бы мы с прочими немцами на поселение. Сам-то Виктор Францевич даже не доехал до Казахстана: фашисты разбомбили эшелон. — Она снова вздохнула. — Наши сослани его как немца, а немцы убили как русского.

Подробности из жизни неизвестного мало интересовали Петю. Большое дело, что Виктор Францевич прихрамывал на левую ногу, носил кожаный жилет и гордился своим предком Францем Клементом, любимым скрипачом Бетховена, а его Ева красила волосы в рыжий цвет и накручивала их перед сном на папильотки! Большое дело, что они учили детей французскому и немецкому, музицировали по вечерам, а на Рождество брат и сестра в школе Карла Маркса, бывшей гимназии

Александра Благословенного, пели: «Мы пионеры, дети рабочих», дома же: «Gute Nacht, heilige Nacht»². Петя задумался не о них, а о себе:

– Значит, я белорус?

Веруня сунула за манжету мокрый кружевной платочек:

– Нет, в метрику тебе вписали национальность матери, помнишь свою московскую родню? Бибиковы – старинная русская фамилия.

Гранмамман, равнодушная к родословиям, добавила, как по-писаному:

– Происходят от знатного татарина Жидомира, выехавшего из Синей Орды к великому князю Тверскому, имя роду дал правнук этого татарина стольник Федор Микулич по прозванию Бибик, – и заполняя возникшую паузу, великодушно признала: «Впрочем, есть среди Бибиковых и мещане, и крестьяне, и другие трудящиеся».

Последний мамин подарок, бибиковские фамильные часы, исправно отсчитывали время. Наступил февраль пятьдесят шестого, двадцатый съезд КПСС: облетевший весь мир секретный доклад о культе личности, разговоры и надежды, новые реабилитации, дерзновенные ожидания. Гранмамман слегка помолодела, затеяла таинственную переписку с Францией и часто повторяла, не очень выбирая слушателей: «Неужели выпало родиться и умереть в Петербурге?» Тамбовцев, не таясь, ловил иностранное радио и, соблюдая легкую конспирацию, привозил из-за кордона таинственные свертки. Танта Веруня открыто общалась с французскими аспирантами, наняла Пете учителей музыки и английского на ленфильмовские гонорары от дубляжа иностранных картин и синхронных переводов на закрытых просмотрах в Доме кино. Он через силу брэнчал на кабинетном «Беккере», с удовольствием повторял английские детские страшилки, но не спешил разделять общее ликование. Ему казалось, что Сталин сам разоблачил себя еще в пятьдесят третьем, когда умер, открыв всему свету, что не бессмертен.

Чтение занимало Петрушу куда больше музицирования. Напрасно баба Ньюша предупреждала, что читающий зачитается: уснет, а глаза так и будут бегать туда-сюда, утром откроет веки, а зрачки закатились. Интересные книги поступали теперь не из макулатуры, а от букинистов с Литейного и Старо-Невского, из личных собраний Веруниных однокашников по университету. Оживились журналы, появились публикации Олеси, Бунина, Зощенко, Ильфа и Петрова; кое-что привозил из загранплаваний деятельный Тамбовцев. Вновь открывшиеся цитаты включались в повседневную речь. Даже ничего не читавший Генка Эвальд прослыл острословом, отвечая на любой вопрос, как Остап Бендер: «Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?»

Миновал фестиваль молодежи и студентов, выбросивший на берега Невы разноцветные эмалевые значки и разбитные латиноамериканские мелодии. Прошла денежная реформа: банкноты стали меньше, а монеты полновесней. Бархатный жакет, который баба Ньюша носила круглый год не снимая, тяжелел: монеты проваливались через дырявые карманы за подкладку. Время от времени из ее комнаты раздавался глухой удар, пугавший Махно: это Ньюшин жакет срывался с крючка. Старые и новые деньги некоторое время ходили вперемешку, таким набором Петя и Гера Дубин заплатили за первую в своей жизни бутылку портвейна. Неожиданно взлетел в космос Гагарин, вызвав первые стихийные демонстрации. Напрасно Гранмамман искала у космонавта дворянские корни: уроженец села Клушино был истинным представителем трудящихся.

Гранмамман пыталась найти родовитых пращуров у каждого; ее не занимали, как она выражалась, малопородные люди. В Тамбовцеве видела потомка войскового атамана Яицкого казачьего войска, убитого мятежными казаками при Екатерине

Великой. «Да-да, — подхватывала впечатлительная Танта Веруня, вспоминая университетские лекции, — о нем упоминал Пушкин». — «Женщины, — рычал Тамбовцев, — не портите мне анкету! Мой отец вкальвал слесарем на ремонтном заводе. Хотите, чтобы эти клизмонавты закрыли мне визу?» Клизмонавтами он называл кадровиков, утверждая, что на рабочем месте они вводят себе водку с помощью клизмы прямо в задний проход, чтоб изо рта не пахло.

Фамилия Дубин и его предки из города Коврова Гранмамман не привлекли. «Может быть, Дубовик, нет?» — переспросила она и тут же потеряла интерес к предмету. Когда в космос запустили Германа Титова, Гера признался Пете, что его настоящее имя не Герасим, а Герман: так опрометчиво назвали его в честь тестя. И это при том, что старший брат отца, изобретавший отравляющие газы в секретном отделе Академии наук, был необоснованно репрессирован в тридцать восьмом («теперь реабилитирован подчистую»). Итак, зовите меня Герман! Петю эти откровения утомляли, а Танта Веруня пришла в восторг: «Как я сразу не догадалась! Пушкинский Германн. Посмотри: у Геры профиль Наполеона, и он трепещет от честолюбия, как тигр!» На что Петя тут же срифмовал: «Зачем ты тащишь на горбу всех предков от Адама? Им места нет в твоём гробу, где ждет тебя та дама, которая зовется Смерть и прекращает круговерть».

С восьмого класса Петя и Гера учились в экспериментальной школе Академии педагогических наук у Смольного с особой программой по математике и английскому. Ездить приходилось на троллейбусе от кольца до кольца, о пробках тогда никто не слышал, поэтому дорога в один конец занимала минут сорок, протекавших не без пользы. В троллейбусной болтовне родилась островная страна, которую Петя, увлекшийся чтением слов задом наперед, назвал Даргнинела. Обсуждались детали ее славного прошлого, выяснялись обстоятельства ее великолепного настоящего.

Увлечение перевертышами настигло Петю, когда он с отвращением разучивал фортепианный этюд Черни. Его вдруг осенило, что имя кота Махно справа налево читается: «он хам», то есть содержит характеристику своего носителя, не всегда, впрочем, ясную, например, Гамлет — тел маг, Милан — налим. Он начал выворачивать слова наизнанку. Иногда получались невнятные обрывки фраз: «А мыло Колыма» или темные афоризмы: «Ереван — шалаш на вере». Оказывается, всякое имя беседует само с собой, а некоторые группы слов образуют сверхпрочные блоки-палиндромы, звучащие одинаково, как ни читай.

Мир палиндромов так захватил Петра, что, окончив школу с серебряной медалью, он поступил на филологический факультет университета, выбрав кафедру романской филологии. Неожиданно для себя, но не для Веруни, которая приняла это как должное. Она ведь уехала из Ярославля в Ленинград накануне войны с Финляндией, чтобы учиться на этой кафедре, а очутилась на другой — истории русской литературы. И это опять удача. Если бы она попала на кафедру романо-германских языков, ее, скорее всего, десантировали бы в немецкий тыл, и она, не успев забросать парашют еловыми лапами, оказалась бы в застенках гестапо. А так, под крылом женившегося брата, получила райские условия для учебы, пережила первую, самую тяжелую, блокадную зиму и эвакуировалась в Саратов к любимой с детства Волге-матушке. Петр мысленно перевернул оба географических названия: из первого получилась окающая «аватара Саратова», из второго — безобразная фамилия.

Пришельцы с берегов Невы оживили культурную жизнь города на Волге. Это была уже не та саратовская глушь, куда Фамусов грозил загнать упрямую Софью. Теперь в городском лектории Григорий Александрович Гуковский звучно рассуждал о русской патриотической поэзии восемнадцатого века, Ахилл Григорьевич

Левинтон (автор песни «Стою я раз на стреме, держуся за карман») раскрывал секреты творчества Мопассана: за два часа занимали места, полный аншлаг! Ранней весной сорок четвертого академик Тарле в публичной лекции заявил, что русские цари делали благое дело, расширяя на запад пределы России: тем самым они готовили поражение Германии в текущей войне. Отставшие от жизни марксисты обвиняли Евгения Викторовича в кадетско-монархическом уклоне, не понимая, чья коренастая фигура стоит за этими тезисами.

Когда той же весной филфак возвратился в Ленинград, в стране начала медленно разворачиваться борьба с космополитизмом, сиречь низкопоклонством перед Западом, набравшая полную силу через несколько лет. Танта Веруня перечисляла ее жертвы: Эйхенбаум, Жирмунский, Азадовский. От сердечного приступа в Лефортовской тюрьме умер Гуковский. Разоблачая низкопоклонство, писатель Фадеев открыл главного предтечу этого бедствия — дореволюционного академика Александра Николаевича Веселовского, классика русской фольклористики, под чьим влиянием находились указанные жертвы. За Веселовского вступился академик Владимир Федорович Шишмарев. «Хоть убейте, — говорил он идеологу Жданову, плача, — не отрекись от покойного учителя». Старика Шишмарева не убили, позволили доживать. «Все мы безродные русские космополиты», — заключала Веруня. Слушая тетку, Петр перевернул имя Шишмарев, получилось удачно: Верам — шиш!

Особую роль в саратовской жизни Танты Веруни сыграл профессор Евгеньев-Максимов: свой курс по русской поэзии шестидесятых годов девятнадцатого века он начал издав далеко, не с Некрасова с Добролюбовым, а от второстепенных поэтов предыдущей эпохи. Среди них — Иван Петрович Мятлев. Веруню сразу же поразило, что его звали Ишка, точно так с младенчества называл себя ее брат Ванечка, не говоря уже о перекличке фамилий Мятлев — Тямлев. Профессор рассказывал о его легком нраве, о даре импровизации, о привычке мешать в экспромтах русский с французским, о приятельстве с Жуковским, Пушкиным, Вяземским, Гоголем и всем светом, о знатности и богатстве семьи, о том, что в детстве он выпускал французскую газету «Пудель-исследователь», и так далее вплоть до неожиданной кончины на широкой Масленой неделе. Все факты Танта примеряла к себе.

Ее сверхценная идея сложилась окончательно, когда Владислав Евгеньевич принес в аудиторию поэму Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, *дан л'этранже*» с иллюстрациями русского графика Василия Федоровича Тимма, он же Георг Вильгельм. На одной гравюре поэт глядится в напольное зеркало и видит там госпожу Курдюкову. Внимательно изучив картинку, Веруня узнала себя в обоих: и в авторе, и в его героине, тамбовской дворянке. Она долго носила эту тайну в себе, но после рождения Петруши поделилась с его родителями, а затем и с племянником. «Если это не фамильное сходство, то бывает же простое родство душ», — оправдывалась она. Теперь она примеряла поэта Мятлева к Петруше. У мальчика тоже стальные глаза, твердый подбородок и крепкая стать, у него легкий нрав, явный дар импровизации, умение болтать по-французски, он тоже выпускал домашнюю газету «Голос Даргнинелы» на разных языках, а на место любознательного пуделя сгодится кот Махно. Дружба с Пушкиным и Гоголем, богатство и знатность, ранняя кончина и прочее не в счет.

А Махно старел, тяжелел, характер его портился. Теперь кот общался только с кормившей его бабой Ньюшей. В сезон корюшки, когда кухню наполнял запах свежих огурцов, баба Ньюша подкладывала ему рыбку за рыбой, приговаривая: «В Оредежи окуни, в Суйде шуки, в Кремьянке форели... Любишь курву, собака рыжая, любишь», — и кот благодарно урчал. «Курвой» она называла корюшку, а «собакой рыжей» кота и других любимцев, включая Петрушу. После отстранения Хрущева

от должности, незадолго до девятой годовщины гибели «Новороссийска» Махно, чихнув три раза, ушел из дома и не вернулся, как ни искали.

Отбывая летнюю практику, Тямлев участвовал в подготовке стихов Мятлева для серии «Библиотека поэта», расписывал французские слова из текста и давал подстрочные переводы. Сколько мог, он скрывал свои новые занятия от Веруни, но когда она узнала, то увидела в этом очередной перст судьбы, связующий Тямлевых с Мятлевыми. В это время советские танки вошли в Чехословакию, последние иллюзии относительно кремлевских властей исчезли, все больше людей вокруг отчуждались от публичности, уходя в параллельную жизнь. «Честный человек — честный человек», — повторял Тямлев коллегам, и многие соглашались.

Он без труда поступил в аспирантуру академического Института языкознания, защитил кандидатскую «Французские тексты в творчестве русских писателей первой половины XIX века», а перед защитой женился наконец на рыжей волоокой Алле, студентке, с которой сблизился в колхозе после третьего курса. Родился сын Денис (Тямлев хотел назвать его Иваном), затем — мирный развод и отъезд бывшей жены с сыном на постоянное местожительство в Лос-Анджелес. По законам статистики брак распался, не протянув семи лет.

Не подозревая, что наступил застой, время стремительно летело, благополучно проскочив через 1984 год, памятный вопросом Амальрика, дотянет ли до него Советский Союз, и утопией Оруэлла. Впереди у Союза была вечность — еще одно, последнее, семилетие. Тямлев продолжал академическую карьеру, писал статьи, выступал с научными докладами, издал свою диссертацию, готовил книгу «Романские маргиналии русской словесности». Его стали замечать иностранные коллеги — с легкой руки французского слависта Клода Регура, пригретого Тантой Веруней еще стажером в шестидесятых, невероятно худого и словоохотливого. Клод первым назвал Советский Союз театром абсурда, развивая мысль по-французски: «Только немногие противостоят этому миру, в котором человек оторван от традиционных религиозных и метафизических корней». Апеллируя к Сартру, он предупреждал, что мир вообще исполнен неврозов и наваждений, а его нелепые ритуалы ведут к отторжению от реальности; при этом вынимал из кармана замшевой куртки плоскую бутылку с этикеткой «Мартель» и прихлебывал из нее коричневатую жидкость, как оказалось, холодный чай без сахара.

Клод нравился бабе Ньюше своим красноречием. «Ишь талапанит, собака рыжая», — одобрительно бормотала она, угощая француза на кухне горячим чаем с овсяным печеньем. Сама она предпочитала двойные бутерброды, покрывая куски французской булки голландским сыром с одной стороны и ветчиной — с другой, и ела их, по выражению Петруши, цоцкая. В Прощеное воскресенье, вернувшись с кладбища, бросалась в ноги соседям, гремя бархатным жакетом, и каялась. Гера Дубин уверял, что в блокаду она съела младенца.

Перед Великим постом баба Ньюша умерла. Ничем не болела, ни на что не жаловалась, а утром не проснулась. К смерти, впрочем, готовилась давно: завещала Тямлевым и старухе Гольцевой похоронить себя на Большеохтинском кладбище рядом с покойным мужем, объясняя, где лежат похоронные деньги и одежда.

Бабу Ньюшу обрядили в яркое платье, расшитое бисером и ракушками, и золотистый головной убор с узорчатым хвостом; при отпевании в Никольском соборе молодой священник глядел на покойницу недоуменно. Возвращаясь с Охты напрямик, Тямлев провалился под лед на занесенной снегом речонке, вымазался в нефти с головы до ног и добрался до квартиры, когда поминки были в самом разгаре. Умылся, переоделся и вошел на кухню, где чей-то хриплый голос говорил о бабе Ньюше, называя ее Анна Никитична. Тямлев узнал Емельяна Тимофеевича, могуче-

го старика с красным лицом; перед большими праздниками он натирал у них паркет, наполняя квартиру ритмическим шарканьем и запахом воска, трудового пота и скипидара; квалифицированный полотер, он наводил блеск в Смольном и видел живого Кирова. Емельян Тимофеевич говорил о честности покойной, но больше сбивался на то, как он удил рыбу с ее мужем под Вырицей. Чувствовалось, что он уже крепко выпил. Гранмаман сидела окаменев, не проронив ни слова. Петруше нехотая вспомнился единственный анекдот, который баба Нюша рассказала ему в детстве: «Барыня посылает мужика: купи, мол, мне *редиккуль*. Он и принес ей редьки куль».

Когда полотер ушел, остались только свои. «Откуда у бабы Нюши такой странный наряд?» — спросил Тямлев, обращаясь ко всем сразу. Ответила Гранмаман: «Нюша — ижора. Всю жизнь скрывала, чтобы не посадили за шпионаж в пользу Финляндии, как всех ее родных. А меня спасла — перед войной, когда я вырвалась из Туркестана, оформила счастливые бумаги, прописала, и второй раз, в блокаду, устроила на завод с рабочей карточкой». Гранмаман подняла рюмку: «Пусть будет земля ей пухом!»

Так баба Нюша, ижора из деревни Сасси, по-русски Чаша, ушла в забытую ижорскую страну мертвых Кальму, счастливо избежав преждевременной смерти от свинца или Колымы. «В Оредеже окуни, в Суйде шуки, в Кремьянке форели». Кремьянка начинается от деревни Чаша слиянием Чашенки с Пустынкой и неспешно течет вдоль болотистых луговин, разливаясь в устье на целый километр. «О людях узнаешь только на поминках», — сказала Веруня.

Тямлеву от бабы Нюши достался посмертный дар. Разбирая тонкую пачку документов в ее платяном шкафу, нашли записку, почерком и стилем напоминающую каракули старца Григория Распутина: «*сироте петруши оставляю все десятки ис жакета нюша*». Бархатный жакет так и висел на крючке с внутренней стороны Нюшиной двери. За подкладкой обнаружили золотые царские десятки, ровным счетом сорок девять тяжелых рыжих монет. Тямлев сложил их в носок и засунул на полку за сорок девятый том Брокгауза и Ефрона.

Вместе со страной Тямлев пережил две эпохи перемен — оттепель, закончившуюся заморозками, и перестройку, закончившуюся крушением обветшавшего государства. Конец перестройке наступил утром в понедельник на Преображение Господне со звонком Геры Дубина: «Выходи на бульвар, у нас переворот!»

На углу — ящики с пивом. Презрев антиалкогольный закон, продавец зазывает: «Налетай, пока Мишки нету!» Люди с транзисторами ловят новости. Радиостанция «Открытый город», сообщив, что погода что-то портится, и это надолго, замолкла. По другим программам звучит заявление советского руководства: «...идя навстречу пожеланиям широких масс трудящихся... объявить чрезвычайное положение сроком на шесть месяцев». И отдельно по буквам: «ГэКа-ЧеПэ». Тяжелая пауза. Тямлев утешает Геру: «Чепуха, на болоте большой волны не бывает», — но не очень верит и сам.

Рядом, в Мариинском дворце, заседает президиум Ленсовета. Появляется вырвавшийся из Москвы Собчак и называет гэкачепистов заговорщиками, бывшими министрами, участниками антиконституционного путча, предлагая собрать чрезвычайный съезд народных депутатов СССР и устроить всеобщую забастовку везде, кроме оборонки. Новость мгновенно передается из уст в уста. Тямлев и Дубин, не сговариваясь, поворачивают на Главпочтамт и шлют факс Клоду Регуру, призывая всех филологов Сорбонны заклеить путчистов. Как ни странно, факс у них принимают, он тут же уходит во Францию. С чувством выполненного долга они закупают спиртное, напиваются под собственные либеральные речи и чуть не опаз-

дывают на утренний митинг на Дворцовой площади. Там поверх стотысячной толпы летят призывы и последние новости. Одним ухом участники митинга внимают ораторам, другим слушают «Свободу», русскую службу Би-би-си, а также оживший «Открытый город» и «Радио-Балтику».

«Танки, надвигавшиеся на город с юга, остановлены. Генерал обещает не стрелять в свой народ. Листовки с речами Ельцина и Собчака принимают в воинских частях с одобрением. Пикеты и демонстрации на Невском проходят свободно. Янаева не поддерживает никто, кроме Саддама Хусейна и Каддафи». И наконец решающий призыв: «Ленинградцы! Депутаты просят вас прибыть для защиты Ленсовета. У гэкачепистов для решающих действий остается только эта ночь».

Быстрее других к Мариинскому дворцу съехались таксёры. Затем подтянулись пешие добровольцы, включая анархистов, членов демсоюза и Тямлева с Германом. Домой Петруша вернулся под утро, дыша портвейном и безуспешно стряхивая с белой рубашки ржавчину от арматуры, которой защитники Мариинского дворца намеревались остановить танки. А в это время под крышей дома на углу Гороховой и Казанской, тогда Дзержинского и Плеханова, девушке Саше виделся сон: синие тени на снежных валах, скрежет льда под коньками, неуклюжий мальчик на снегурках, и сразу другое: всадники в мокрых тельняшках, горяча полосатых коней, высаживаются из холодного моря на черный скалистый берег, хмурый и пустой.

2. Петербург

Осень девяносто первого выдалась урожайной. Когда в апреле Ленсовет решил провести референдум насчет восстановления первоначального имени, мало кто думал, что из этого выйдет нечто путное. Одни вообще не называли город Ленинградом, обходясь мещанским — Питер, другие считали, что ленинградская блокада очистила смертный псевдоним, третьи предлагали суррогаты, вроде Свято-Петрограда или, прости Господи, Невгорода, клялись пушкинским Петрополем и уверяли, что звание петербуржец надо заслужить.

«Да, — балагурил Тямлев, заваривая зеленый чай на кухне, — от большевистской Мельпомены остались нам одни подмены, вместо имени — местоимения, так что на переключке по привычке звучат не имена, а клички». Танта Веруна подхватывала: «И пошли они, солнцем палимы, повторяя свои псевдонимы: Ленинград, Сталинград–Волгоград, Горький, Молотов, Свердловск, Калининград...» И Тямлев завершал уже почти без рифм:

Слышу, ссора на Охте, кричат: Петроград!
Кто кого обозвал петроградом?
Ленинград, будто датский философ, брадат,
Петербург, как немецкий купец, тароват,
друг на друга кричат в безымянном пространстве.

Гранмаман бесстрастно пила зеленый чай из пиалы, заедая курагой, голландский кассетный магнитофон «Филипс» хрипел голосом Высоцкого: «У меня было девять фамилий, у меня было семь паспортов, меня семьдесят женщин любили, у меня было двести врагов...» Старуха предпочитала уголовные песни мещанским романсам из жизни белогвардейцев, вошедшим в моду с восьмидесятых: «Не падайте духом, поручик Голицын... Корнет Оболенский, надеть ордена». «Апофеоз кастратов, — бормотала Гранмаман. — Откуда ордена у корнета?»

Яровые посевы неожиданно заколосились. Летом, когда Собчака выбрали мэ-

ром, выяснилось, что горожан, склонных к восстановлению имени, на целых четыре с лишком процента больше, чем тех, кто не готов. И вот вам урожай: в сентябре указом Президиума Верховного Совета город стал Санкт-Петербургом. Некоторое время он пребывал безымянным: называть его Петербург официально, да еще с приставкой «Санкт», не поворачивался язык, и оставался он просто Город, как у Булгакова в «Белой гвардии» Киев. Впервые слово «Петербург» Тямлев выговорил в окошечко кассы, покупая обратный билет на электричку из Комарова (финское название — Келомяги). Кассирша поняла, и земля не содрогнулась. В октябре вернули имя малой родине Тямлева — Конногвардейскому бульвару, зато Институт языкознания переименовали в Институт лингвистических исследований, или ИЛИ.

Тогда же Петруша благополучно защитил докторскую «Иноязычные вкрапления, макаронизмы и криптопалиндромы в русской художественной литературе XVIII — первой половины XIX века». Внезапный интерес к теме проявил сосед Тамбовцев; выйдя на пенсию, он томился на Канонерском заводе в непыльной должности капитана-наставника плавсостава. «Что такое макаронизмы? — спрашивал он. — Не связаны ли они с макаронами?» — «Связаны, — объяснял новоиспеченный доктор, — это разноязычные смешения на манер итальянской кухни. Вроде как ты изъясняешься по-английски: *ай эм, што я ем*. А криптопалиндромы суть тайные перевертыши, типа *Аргентина манит негра*». — «Не только негра, — огорчился Тамбовцев, — но ходу в Буэнос-Айрес мне больше нет, закрыли море дуньки гребаные!» Дуньками он называл теперь кадровиков-клизмонавтов по известной частушке: «Как у Дуньки в толстой жопе разорвалась клизма, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма».

На пенсии мореман взялся писать лирические стихи. Он обратил запоздалые строки к любимой жене, которая не ужилась с ним на Конногвардейском и, забрав сына, давно вернулась в родительский домик в Озерках:

Пусть юность прошла, но, похоже,
Не может любовь досаждать
При скверной даже погоде
В промозглость, слякоть и грязь.

Затем Тамбовцев переключился на прозу, задумал мемуары, но дальше первой фразы: «Война застала меня десятилетним огольцом в Оренбурге» — продвинуться не смог. Возникли сложности с географией. Город, куда его отец завербовался мастером на металлообрабатывающий завод, носил тогда имя Чкалов, хотя дерзкий летчик в Оренбурге никогда не бывал; а стоило Тамбовцевым вернуться к Азовскому морю, Мариуполь обернулся Ждановом. Впрочем, Екатерина Великая в свое время поступила еще круче: осердясь на яицких казаков, повелела именовать реку Яик Уралом. И ничего, именуем.

Защита диссертации почти совпала с тридцатипятилетием взрыва на «Новороссийске». Каждую годовщину Тямлевы с Гранмамман ходили в Никольский морской собор, где после общей службы отстаивали зауспокойную литию.

В притворе устанавливался столик с распятием и свечами; сняв облачение, батюшка приступал, а псаломщик вторил. Надев епитрахиль, батюшка затягивал: «Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих...» Тямлев добавлял про себя: «Ивана и Варвары». Наконец провозглашали, кланяясь троекратно: «Вечная ваша память», негромко проговаривая: «Бог да ублажит и упокоит их и нас помилует». Втроем спускались в облетающий желтыми листьями сад к обелиску жертв

Цусимы работы князя Путятин. Всякий раз Тямлев почему-то искал в выбитых строках имена родителей, но их там быть не могло.

Великим постом и накануне Троицы, когда церковь поминает всех погибших неожиданной смертью, Тямлев с Тантой Веруней приходили в собор молиться перед греческой иконой Чудотворца Николая за поглощенных морем и оставшихся без христианского погребения: «Покой, Господи, души усопших раб Твоих Ивана и Варвары. Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурю, к тихому пристанищу Твоему притек».

Октябрь не давал Тямлевым повода для особого веселья, и банкет по случаю докторской защиты прошел на дому почти буднично. Скромное угощение соответствовало полуголодному времени. Когда-то на ссылку академика Сахарова Тямлев откликнулся частушкой: «Жизнь не сахар и не мед, очередь на зорьке, но зато начальство шлет Сахарова в Горький». Теперь сахар исчез буквально, а вместе с ним — почти все продовольствие, кроме вымени, мерзлых свиных голов и томатной пасты.

Взамен еды возникли эфемерные документы на ее выдачу: визитная карточка покупателя, чтобы чужой не мог купить в вашем магазине того, что и вы не могли купить; картонные талоны на вино, которые отоваривались в безумных очередях с мордобитием. И последняя форма — именной *единый талонный блок нормированного продовольственного обеспечения*; его отрывная часть была действительна только в составе целого единого блока, а подделка, купля и продажа преследовались по закону. В школах и учреждениях появилась западная помощь — голландское порошковое молоко «Dutch Baby», или, по-нашему, «Датская баба».

На банкете главным блюдом был салат оливье из вареной картошки, колбасы и крошенных яиц, уместившийся в трех эмалированных тазах. Вина и водки хватало: с поражением путчистов лигачевский сухой закон быстро сходил на нет. Танта Веруня описала этот пир скупой: «Тазы с салатами, штаны с заплатами». На исходе торжества раздался звонкий междугородный звонок, виновник взял трубку. Сквозь треск помех незнакомый голос замогильно произнес по-английски: «Дэд, дэд». — «Who is dead?» — испугался Тямлев. «Hi, dad», — донеслось из пространства. Оказалось, звонит сын Дениска из Лос-Анджелеса, поздравляет папу с защитой диссертации. В конце бестолкового двуязычного разговора сын неожиданно спросил отца по-русски: «На жизнь хватает?» — «Еще как хватает, — быстро ответил дэд. — Приезжай на каникулы, увидишь». Совсем взрослый, семнадцатилетний американец.

В декабре Тямлев отправился к Смольному на встречу одноклассников. С площади Пролетарской Диктатуры от белых колонн Пропилеев был виден дворец, в синих сумерках над ним реял бело-сине-красный флаг, подсвеченный прожектором. Тямлев удивился, насколько привычным стало это зрелище, вызывавшее в сентябре слезы восторга. Вспомнилось, как в советские времена он обсуждал варианты обложки для своей книги о романских маргиналиях. Тогда ему легко удалось настоять на цветах русского триколора: простодушный редактор принял их за французские.

В школе Тямлев не был после выпускного бала и будто впервые рассмотрел ее: казенная краска на стенах, тускловатые блики, вогнутые ступени широкой лестницы, отшлифованные за девяносто лет до блеска; измененные временем полузнакомые лица.

Его узнавали, чокались портвейном, говорили приятное. «Ты сочинил на меня эпиграмму, — вспоминал лысый человек с ленинской бородкой. — На рыбалке Черняков заменяет червяков. А, Тяма?» Тяма не помнил. Интересная, но усталая

блондинка цитировала панегирик: «Перед твоей красотой, Елена, я преклоню одно колено» — и спрашивала: «Почему ты до сих пор не влюбил меня в себя, Петя?» Петя не знал.

Он вышел на улицу. «Нам сорок четыре года, — страдал он чуть ли не вслух. — Жизнь прожита без божества, без вдохновенья». Ноги сами привели его к Таврическому саду. Скрежетал лед, сладко пела древняя «АББА», на снежных валах летали бенгальские искры. Каток. Тямлева потянуло туда, как мотылька на свет. В детстве через эти валы мальчишки пробирались на каток без билета.

С трудом преодолев снежный барьер, он решительно ступил на лед и тут же оробел. Что он здесь делает без коньков? Уткнувшись носом в шарф, Тямлев зашаркал по льду. Вдруг он почувствовал толчок в спину: кто-то ухватился за него. «Я дала себе слово, что сегодня не упаду. Надоели вечные синяки на ногах». Тямлев обернулся, увидел сияющие черные глаза и спросил: «Вы кто?» — «Саша».

До метро они дошли вместе, выпили в пирожковой чаю с водкой, обменялись телефонами и неожиданно поцеловались. На следующий день Тямлев пригласил Сашу в Эрмитаж. Походили по знакомым залам часа два, а потом он решил позвать ее к себе домой: всего-то минут двадцать пешком через Александровский сад.

У парадной топталась продрогшая рыжая кошка, несомненная внучка Махно. Они впустили ее в дом, молча поднялись по лестнице, вошли в тихую, будто нежилую, квартиру, прокрались по коридору в комнату Тямлева, где он сообщил: «Знаешь, я тебя люблю», — очень спокойно, не зажигая света и не давая времени оглядеться. «Так сразу?» — «Нет, я долго спал, я был почти ничей, — процитировал Тямлев. — А теперь я хочу быть твоим».

Он не ждал возражений. Ему было точно известно, что эта женщина создана для него вместе со всеми синяками, которые обнаруживались в самых разных местах, и у каждого была своя история. Она подходила ему по всем статьям: размеру, весу, форме, длине рук и ног, температуре тела, мягкости губ, частоте дыхания, ловкости пальцев, наличию родинок и волосков во всех нужных и ненужных местах и даже по вкусу. Открывая новые взаимные соответствия, Тямлев удивлялся — иногда вслух, чаще про себя.

А Саша? Конечно, она боялась неожиданностей. Например, запахов. Как говорила молодая Ахматова нежеланным кавалерам: «Почему от вас пахнет обедом?» Но времени на испуг ей не было дано, и запаха она вообще никакого не почувствовала. Другая тревога, что сейчас все закончится, тоже оказалась напрасной. У них ничто не могло закончиться, и когда стало трудно желать чего-нибудь еще, они долго лежали, обнявшись и прислушиваясь даже не к биению сердец, но к движению крови по сосудам, пока их не накрыла новая волна. Первая близость не разочаровала, ибо надежд никаких не было, как не было неловкости, влажных ладоней, неудобных поз, только упоительный покой и уверенное предвкушение большего.

Теперь при мыслях о Саше Тямлев оживлял строки из коричневой брошюры, пропахшей трубочным табаком:

Не раз он день благословлял,
Когда с ней встретился впервые
И на Таврическом катке
Ее увидел на коньке.

Брошюру привез из Парижа Клод Регур для Веруни, зная, как Танта любит все связанное с Мятлевыми. На титуле в старой орфографии было напечатано:

«В. П. Мятлев. Фон-Братен. Роман в стихах из великосветской жизни... Записан по памяти в Канне 1921 года. Берлин. Издание книжного магазина „Град Китеж“. 1922 г.» На задней обложке анонсировались «Протоколы Сионских Мудрецов» (60 марок) и «История России» профессора Е. Ф. Шмурло (400 марок).

Тямлевы не знали, что внук поэта Ивана Мятлева, Владимир Петрович продолжил семейное ремесло, о чем и сообщал онегинской строфой:

Я не хочу, чтоб ряд портретов
На внука горестно взирал.
Мой был прапрадед — адмирал!
И только с деда кровь поэтов
Над кровью бранной верх взяла
И лиру в руки мне дала.

Настоящим открытием, более того — потрясением, стал для Веруни Тямлев, обнаруженный на шестьдесят девятой странице. Под этим перелицованным именем вывел себя автор:

И Тямлев здесь, салонный бард,
Известный множеством историй
Из-за памфлетов на друзей,
Из-за романов и связей,
Враг канцелярий, консисторий...

Повеса, жизнелюб, только чем ему не угодила консистория, или она возникла ради рифмы? Всезнающая Гранмамман разъяснила: «Как предводитель дворянства Новооскольского уезда Курской губернии он, должно быть, не ладил с епархиальным архиереем». За последние годы она стала признанным авторитетом в смутной области российской генеалогии. На ее столе место альбомов с маркизами заняли выпуски летописи историко-родословного общества в Москве.

Более двадцати лет потомки рабочих, крестьян и служащих, пропустив за воротник, с чувством пели вслед за киноактером в золотых погонах: «Русское поле, я твой тонкий колосок». А сейчас идея восстановления родовых корней так овладела массами, что к Гранмамман стремились попасть кооператоры и неимущие старушки, офицеры и бывшие зэки, доценты и уличные музыканты. Приходили сомнительные девушки, бритые молодцы в золотых цепях, широкоплечие карлики в багровых пиджаках и даже один негр в цилиндре и во фраке — вылитый Пушкин. Но допускались немногие. Безжалостный отсеб производил Гера Дубин, взявший на себя роль секретаря и казначея старой дамы. Они завели картотеку, обложились справочниками, чертили одно родословное древо за другим. Иногда к ним присоединялась Танта Веруня, окончательно уверовавшая, что Тямлевы и Мятлевы — одна семья. К Гранмамман тянулись и зарубежные визитеры. Когда-то этим встречам предшествовали краткие телефонные звонки; в коридоре возникали бледные юноши, вручавшие старухе свернутые фантиком записки. Развернув бумажку, она давала краткий ответ и в назначенный час, надев шляпку, отправлялась на тайное свидание «талапанить с гостями», как замечала баба Ньюша. Время шло, и таинственность убывала, сменяясь несколько театральной гласностью. Последний барьер пал исторической осенью, когда в Москве собрался Конгресс соотечественников, угадавший прямо под августовский путч. У дома на Конногвардейском стали парковаться невиданные автомобили; гости из Австралии, Франции, обеих Аме-

рик и Африки, щебеча на разных языках, позировали вместе с Гранмаман перед фотоаппаратами и кинокамерами. Сверкали улыбки и вспышки, благоухали хризантемы.

Из Белокаменной пожаловал французский соотечественник Galitzine, подтянутый господин с большими ушами («Бабушка, почему у тебя такие большие уши?» — слышалось Тямлеву), и на беглом, но приблизительном русском языке рассказал, как монгольфьер в цветах российского флага с приветственной надписью участникам конгресса все не мог подняться в хмурое московское небо и плюхался на мокрый асфальт. «Он прыгал, словно футбол», — повторял Galitzine, а выпив рюмку водки, блестящей, как ртуть, перешел на французский, признавшись, что современный русский юмор не всегда понятен ему. Например, когда при виде внедорожников с затененными стеклами москвичи говорят: «Крыша поехала» — и весело смеются. Или в газете «Коммерсантъ» печатают карикатуру на проект Союзного договора с диковинной подписью: «Консервы урюк с хреном». Гранмаман хмыкнула: «Этого урюка с хреном я хлебнула сполна».

Вообще, с посторонними Гранмаман была сдержана, отвечала сухо, избегая красочных деталей и разоблачающих фактов, столь любезных журналистам. Поэтому до самого нового года Тямлев робел показывать Сашу домашним: не хотелось, чтобы ее приняли за чужую.

Саша приехала на такси, извлекла оттуда нечто, покрытое детским атласным одеялом, и внесла в квартиру, отвергнув услуги Тямлева. Из свертка доносились позвякивания и шелест. Когда одеяло убрали, на обеденном столе оказалась круглая клетка, а в ней — колокольчик, овальное зеркальце и взъерошенный попугайчик, сине-бело-желтый с черными разводами. Оглядев присутствующих, он остановил взор на Гранмаман и громко прошептал: «Матушке царице виват!» Старуха дрогнула: «Как его зовут?» — «Яша».

Яша ударил клювом в колокольчик, подскочил к зеркальцу и сказал, любуясь собой: «Яша, голубчик, маленький птенчик, головка не болит?»

— Дома ремонт, — объяснила Саша. — Боюсь, наглотается пыли и наберется дурных слов. Можно он пока поживет у вас?

В подтверждение Шашины слов Яша натурально изобразил звук хлопнувших дверей и каркнул хамским голосом: «Карр-ртошка!» Лед, как говорится, был сломан. Гранмаман усаживала Сашу за праздничный стол, Тамбовцев разливал коньяк, Тямлев блаженствовал, а Танта Веруня, разглядывая гостью, восклицала:

— Кельтские глаза и брови, как у Петрушиной мамы! Вы, часом, не из Биби-ковых?

— Не знаю, моя фамилия Полева.

Гранмаман оживилась:

— Балк-Полева?

— Нет, просто Полева. Вообще-то, — храбро пояснила Саша, — меня мало интересуют родословные деревья, а больше животные, растения и камни.

— Вам знаком язык цветов? — подхватила Гранмаман. — Что, например, символизирует ромашка?

— Ненависть, — не задумываясь, ответила Саша.

— А кактус?

— Короткое счастье.

— Дикая роза?

— Поэзию.

Подумав, Гранмаман задала следующий вопрос:

— А роза «Глуар де Дижон»?

— Сладкие поцелуи!

Испытание могло продолжаться без конца, если бы не Танта:

— Надежда Эммануиловна, сфинкс задал Эдипу одну загадку, а вы Саше уже четыре.

На следующий день Саша раскрыла Тямлеву источник своей эрудиции — недавний репринт книги «Жизнь в свете, дома и при дворе», изданной сто лет назад в серии «Библиотека практических сведений». Должно быть, ее читала и Гранмаман на заре туманной юности. Тямлев задумался. Если кавалер посылает букет за букетом предмету своих ухаживаний, то без взаимного понимания цветочной символики, конечно, не обойтись. Но кактус? Разве возможен букет из кактусов? Оказывается, в заветной книге фигурировали самые невероятные растения, например — редька, она же радость в слезах. Теперь строки песен и стихов заиграли по-новому. Так, «ромашки спрятались, поникли лютики» обнажают бездну смыслов, если знаешь, что *лютик* подразумевает *свидание*.

Волнистый попугайчик Яша остался жить на Конногвардейском. По этому случаю вдохновенный Тямлев сочинил:

Попугай стоит в закуске, по колено в сметане,
громко шепчет по-русски: «Иди сюда, не-
хорошая птичка!» Переминаясь все боле и боле,
пылкий, как спичка, Яша гуляет в неволе, в легком камзоле.
Яша, привет! Скажи, какие порывы
сотрясают тщедушное тело в лазоревых перьях?
Мы — немые, как рыбы, а вы отмечены в зверях
членораздельным даром. Это недаром?
Черной икринкой смотрит, белой ресницей моргает,
крыло орлиное над головой топорщит,
когтями стучит по столу, квакает, лает, хохочет.
Молчит, а потом отвечает:
— Чаю хочешь?

Сразу же после удачных смотрин Танта приказала: «Венчайтесь!» На Казанской улице Сашины родители благословили молодых под жужжание дрели и стук молотка. Сашина мама и Петрушина тетя в один голос клялись, что молодых крестили во младенчестве, но документов об этом, разумеется, не было. Спасла Гранмаман, поручившаяся за них перед настоятелем Никольского морского собора отцом Богданом, и трудности отпали. Венчальную пару икон — Спасителя и Божьей Матери — Танта сохранила от свадьбы брата, вместе с обручальными кольцами, золотым и серебряным, которые Петрушины родители оставили дома, отправляясь на последние гастроли.

Нетвердо разбираясь в таинстве, Петруша не знал, дадут ли им свечи в руки и не заставят ли прочесть покаянную молитву, так как оба они вступали в брак во второй раз. Саша встретила своего недолгого мужа, возвращаясь с вечерних рисовальных курсов. Началось прогулкой по кладбищам Александро-Невской лавры, а закончилось двумя годами скучного брака. Но ни Саша, ни Петруша со своими бывшими не венчались, поэтому минувший опыт как бы не считался.

Рисовальные курсы Саша посещала для поступления в Художественное училище имени Николая Рериха, до революции — Рисовальная школа при Императорском обществе поощрения художеств. Она выбрала отделение реставрации, потому

что с детства ей хотелось сохранять вещи для вечности. Первым стал зеленый фаянсовый бегемот: она ему восстановила отбитое ухо. Затем — вазочка голубого стекла, в которой намерз лед, когда зимой вырубилось отопление. С возвращением тепла вазочка лопнула, ее было так жалко, что пришлось склеить. А когда стопка журналов «Юный натуралист» вернулась домой под общей коленкоровой обложкой, Сашина профессиональная судьба была решена.

Тямлев венчался во фраке, который одолжил ему тесть, увлекавшийся бальными танцами. Фрачная пара, лаковые штиблеты, белая рубашка и черный галстук-бабочка — все пришлось впору. О Сашином подвенечном уборе, взятом напрокат из реквизита «Ленфильма», Гранмаман высказалась афористично: «Простота есть лучшее украшение молодости».

Перед венчанием молодые, как положено, три дня говели, а утром исповедовались и причастились Святых Тайн. И вот долгожданное: «Обручается раб Божий Петр рабе Божией Александре! Обручается раба Божия Александра рабу Божию Петру!» Трижды обменялись кольцами, трижды отпили вина из общей чаши, трижды обведены были вокруг аналая, и батюшка снял венцы с их голов.

В роли подружки невесты выступала рыжая Василиса, реставратор икон; шафером жениха был Петрушин аспирант, ливанец Адиб Аттар — уменьшенная копия Марчелло Мастроянни. Осанистый дьякон спросил его строго: «Какого вероисповедания будете?» — «Ортодокси, — отвечал Адиб. — Бравославие».

На Конногвардейском после хлеба-соли и первых тостов Адиб признался, что он вовсе не православный ортодокс, а ливанский друг, но дружеская вера позволяет выдавать себя за представителя иных конфессий; это не грех, он уже был шафером на католической свадьбе в Каракасе, столице Венесуэлы. Тямлев продекламировал: «В Казани я татарин, в Алма-Ата казах, в Полтаве украинец и осетин в горах», но Адиб не оценил пионерских стихов Маршака, хотя работал над диссертацией о русской литературе, вернее — о петербургском периоде в творчестве Набокова. Раз в неделю он приносил тонкую стопку голубоватых листков с морозным ароматом камфары, которые Петр творчески переводил на русский.

В Латинской Америке Адиб продавал японские телевизоры и считал, что ученая степень, полученная в России, будет способствовать его успехам. Он умел задевать душевные струны — так, своему научному руководителю не раз повторял, что «град Петра» для него, простого ливанца, означает лишь одно — город Петра Тямлева. Вот и сейчас он ласково кивал, слушая Танту Веруню; та развивала заветную тему о связи поэта Ивана Мятлева и госпожи Курдюковой с семейством Тямлевых.

«Здесь нет ничего удивительного. Как Платон и пифагорейцы, мы, друзья, верим в метемпсихоз, или в переселение душ, — говорил он по-французски, поскольку некогда учился в Бейруте у отцов-иезуитов. — Бессмертная душа обретает многие смертные тела, носит их одно за другим и меняет, как обветшавшее платье. Мы, друзья, знаем, что дружеские души были у Будды, Христа, Шекспира, королевы Виктории, Льва Толстого во всех обитаемых мирах нашей Вселенной. Почему бы одному гению не переселиться в вас, а другому — в вашего уважаемого племянника?» Танта загоралась и спрашивала, где можно почитать о вероучении друзей. «Нигде, — печалился Адиб. — Дружеская вера скрыта от непосвященных, как след черного муравья на черном камне темной ночью. Преступивший запрет должен быть сожжен дотла, а пепел его надлежит развеять на четырех ветрах».

Герман Дубин быстро захмелел. Отмахиваясь от жены Лизы, пытавшейся его увести, он лил водку на скатерть и повторял: «Горько. Еще одна чета пустокарманных ученых. Вы не можете сложить дважды два. А я могу!»

Медовый месяц пролетел за три дня. На четвертый возобновилась всяческая

суета. Тямлев вел семинары и писал статьи; читал лекции в расплодившихся, как грибы, академиях, университетах, высших религиозно-философских школах и христианско-иудейских институтах; водил пешие экскурсии по городу Петра, начиная с родного Конногвардейского бульвара, где каждый дом давал повод для разговора. Неизменным успехом пользовались маршруты Серебряного века, особенно путь поэта Каннегисера на Дворцовую площадь для казни чекиста Урицкого. У тяжелого гранитного здания бывшего германского посольства Тямлев рассказывал, как в августе четырнадцатого в столице начались немецкие погромы и с этой крыши был свергнут могучий бронзовый бык. Экскурсантов интересовало все: семейное гнездо Набоковых и черный дворец графа Зубова, изысканный особняк Мятлева и Галерная улица от ахматовской арки до городской усадьбы Бобринских с бюстами арапов на стене. По вечерам Тямлев анонимно переводил всякую беллетристику, последний тошнотворный роман назывался «Шепот вампира, или Суккуб разоблаченный». Саша изготавляла дорогие, сафьяновые с бирюзой, переплеты для отечественных и иноземных коллекционеров, которых ей находила Танта Веруня, утверждавшая, что деньги — корень и цветы зла.

Протрезвев, Герман позвал новобрачных в кафе-мороженое с видом на кирпичную громаду Новой Голландии. Ели сиреневые, шоколадные и белые шарики из металлических чаш, напоминавших врачебную эмблему, пили теплое советское шампанское. Герман брезгливо отдувался. В голове у Тямлева щелкнул очередной палиндром: «Удав в аду — утро во рту», но он благоразумно промолчал. Герман Дубин готовился к монологу, терзая растрепанный блокнот.

— Что происходит? — начал он риторически. — Будто все сговорились за моей спиной. Начнем с Петра. Твою матушку звали Варвара Петровна Бибикова, точно так же, как сестру поэта Мятлева, вышедшую за кого? За Бибикова! Раз. А за кого выходит, то есть на ком женится сам поэт? На Балк-Полевой! Два. Тебе это ничего не напоминает, Саша? Не заваялся ли у вас дома дворянский герб с золотым бревном на голубом поле?

— Мой дед был петроградским трамвайщиком, — извинялась Саша. — По семейному преданию, выступал против сноса Благовещенского собора, доказывал, что храм не стесняет трамвайное движение на площади Труда. Только в первую пятилетку храм все равно закрыли и снесли.

— Может, Гера, ты веришь в переселение душ, как наш Адиб? — вмешался Тямлев. Но Герман не принял шутки:

— Я верю в факты. Твой отец и тетя Вера найдены в Одессе — в том месте, откуда Мятлев-внук уплыл в эмиграцию, и записаны под тем именем, которым он обозначил себя в своей поэме. Три!

— Род Балк-Полевых давно пресекался, — блеснул эрудицией Тямлев, — а мой вероятностный дед титуловал себя пролетарием-молотобойцем.

— Не в этом дело! — перебивал Герман. — Дело в старухе. Гольцева Надежда Эммануиловна — так? Все время повторяет «бедные Эммануиловичи» и поминает Среднюю Азию — так? Говорит, что княжна — так? — Он раскрыл нужные страницы. — Читаю: княжна София Эммануиловна Голицына, 1869–1918, пропала без вести. Княжичи Василий, Дмитрий и Юрий умерли в младенчестве. А вторая пропавшая без вести княжна, Надежда Эммануиловна, родилась в 1871 году, сгинула в Туркестане как раз в тридцать четвертом! Исправить в документах Голицыну на Гольцеву левое дело. Сложите дважды два!

— Сложили, — отвечал Тямлев. — Значит, сейчас Гранмамман более ста двадцати лет. Зрелый возраст. Добавлю к твоим странностям еще кое-что. Насчет Балк-Полевых. Наш брак с Сашей был предопределен. Доказательство: еще на пер-

вом курсе я сочинял балконизмы — четверостишия с обязательной концовкой: «Но тут закапало с балкона», помнишь? Например:

Хоть я не брат, а ты не сват, —
воскликнул Гера непреклонно, —
прости, я буду деликат...
Но тут закапало с балкона.

— Ты, Гера, многое упустил, — продолжал Тямлев, — Например, рыжую масть. Кот Махно и его потомки, моя первая жена Алла и подруга невесты Василиса, а еще Александр Сергеевич Голицын, по прозвищу Рыжий Поэт, мастер фамильярного жанра первой половины девятнадцатого века. Настоящий союз рыжих, почти по Конан Дойлю, — И Тямлев оставил прозу: — Тому, кто живет, как мудрец-наблюдатель, намеки природы понятны без слов: проходит в штанах обыватель, летит соловей — без штанов, — вспомнил он бессмертные строки Олейникова.

Осушив граненый стакан шампанского, Герман раскупорил новую бутылку.

— Насчет рыжих ты прав. Сегодня, как выражаются уголовнички, побеждает человек с рыжьем, а рыжья по всей России затырено немало. В беседках и каминных, за плитусами, паркетными и багетами, в подоконниках и горшках. Во дворце Бобринских или в квартире на Конногвардейском. Может, старуха знает? Недаром усатая Голицына обернулась «Пиковой дамой». — И Герман затрепетал, как тигр, весь в шампанской пене.

Саша испугалась.

— Ты, Гера, сбрендил, — пришел на выручку Тямлев. — Тройка, семерка, дама. Что дано — то дано, и нечего выходить за пределы условия. У Саши два яблока, у Пети тоже два яблока, сколько всего яблок? И неважно, кто дал и какого цвета яблоки. Ответ один: четыре. Это, парень, тебе не детская Даргинела, — заключил он с пьяным глубокомыслием, — где мы с тобой свободно изменяли действительность туда и сюда. При чем здесь почему?

Дубин наконец обиделся и ушел, а новобрачные остались. Разговор в кафе аукнулся безотлагательно. Наутро, когда Саша и Тямлев занимались любовью, на книжных стеллажах послышалось движение, и что-то тяжело рухнуло на пол. Саша изогнулась, подхватила запыхавшийся носок и опростала его на смятую простыню: «Рыжье!» Сорок девять увесистых рыжих монет царской чеканки, наследство бабы Нюши.

Сорок восемь обычных золотых десятков с профилем последнего царя. А сорок девятая — Саша выложила ее Тямлеву на грудь, как медаль, — оказалась редчайшим десятирублевым империалом 1896 года, чеканенным по доброй александровской стопе: двенадцать и девять десятых граммов золота девятисотой пробы. Знающие люди объяснили, что таких монет было выпущено всего-навсего сто двадцать пять штук. Итак, носок хранил без малого полкило червонного золота.

После совещания с Тантой и Гранмаман клад решили утаить ото всех. «Особенно от Дубина», — настаивала Гранмаман. Она перестала ему доверять, отказывалась от его помощи, задумалась и больше никого не принимала.

Долгими часами, сидя в своем вольтеровском кресле, она держала на коленях толстую книгу — только что вышедшие «Записки уцелевшего» Сергея Голицына, листала, хмыкала, писала на полях мелким неразборчивым почерком, а иногда во весь голос хохотала. Из дома выбиралась редко: в церковь или на Фонтанку, где в особняке графини Карловой велись неспешные приготовления к открытию мемориальной библиотеки Георгия Владимировича Голицына. Деньги на ремонт выде-

лил благотворительный фонд «Голицын — Петербургу», основанный князем незадолго до смерти в Лондоне. Книги в дар библиотеке шли со всех концов земли; некоторые увечные экземпляры приводила в порядок Саша. «Теперь книга чистая, словно из бани», — приговаривала Гранмамман.

Однажды она вошла с улицы, не снимая каракулевой шубы, проследовала в свою комнату и рухнула на тахту. «Меня задавил автомобиль», — объявила она. Пока ее раздевали, обряжали в ночную рубашку из мягкой фланели, укутывали пуховым одеялом, ровным голосом рассказывала о том, что произошло. Она возвращалась на троллейбусе от Аничкова моста, и при переходе Конногвардейского бульвара, в двух шагах от дома, ее сбила машина, вернее, слегка зацепила на малой скорости и уехала, не остановившись. Танта Веруня вызвала «скорую помощь», врач обнаружил ушибы и легкое сотрясение мозга, пытался увезти в больницу, но от госпитализации Гранмамман отказалась наотрез. Слегла и больше не встала.

В ясном уме заканчивала она свои дела, звонила, писала; попросила зажженную свечу и сожгла какие-то бумаги в ночном горшке. Дала предсмертные распоряжения — как и где хоронить и написать на кресте: *Надежда Эммануиловна Гольцева, родилась и умерла в Петербурге*. «Никаких дат не надо, — пояснила она. — Что приросло, то приросло. Все равно упокоюсь среди родных прахов». Составила даже список гостей на отпевание и поминки, помедлила и вписала Геру Дубина.

Отец Богдан ее соборовал и причащал. Когда пришло время, служил панихиду в Никольском соборе. Хоронили Гранмамман на старом кладбище Александро-Невской лавры, недоступном для простых смертных, где она заранее успела купить участок для могилы.

На поминках Герман каялся, безумно глядя мимо Тямлева на одному ему видимого призрака: «Она бы жила и жила, если б я не допек ее вопросами. Кто такой Гольцев? Публицист из „Русской мысли“ — слишком стар. Гимназист, бравший автограф у Ленина, когда в него стреляла Каплан, — слишком юн. Остается Николай Дмитриевич, красноармеец-большевик, воевал в Туркестане, учился на курсах в Ленинграде, получил генерал-майора, расстрелян Сталиным. Красота, все сходится! Как спросил, так она и сиганула под машину».

Речи Германа оставались без ответа. А попугайчик Яша бегал по жердочке взад-вперед, колотил клювом по зеркальцу и шептал: «Летим в Париж!»

3. Франкфурт

По-немецки Франкфурт — франкский брод. Но переправа через реку жизни и смерти начинается не на Майне, а на Неве. Тямлев по этому поводу сочинил:

Летний сад стоит на Лете,
дальше просится «налейте!»,
но вино не будет впрок.
Недосуг делам питейным:
задувает за Литейным
залетейский холодок.

И так далее.

На заре девяностых появляются новые слова, возрождаются старые. «Зеленые» теперь не лесные дезертиры, а борцы за экологию, против атомной станции в Соновом Бору и гигантской дамбы, которая должна заткнуть Финский залив от Бронки до Сестрорецка, пройдя через остров Котлин с Кронштадтом. Не надо нам

дешевой энергии, чреватой Чернобылем! Пускай свободная стихия наводняет Петербург и сводит с ума бедного Евгения, не хотим задыхаться в застойных испарениях Маркизовой лужи!

И гусь свинье не товарищ, а господин. Ожившее слово поначалу употреблялось с иронией или пафосом, но эмоции выветрились, и обращение «господин» опять стало казенным. Маклеры, назвавшиеся риелторами, начали расселять коммунальные квартиры в историческом центре, очищая пространство для новых русских.

Появились новые вещи. Вместо многопудовых ЭВМ, электронно-вычислительных машин, пришли домашние Пи-Си — персональные компьютеры; в мутной пробуре экранов дрожали таинственные знаки операционной системы DOS. Возникло трезвое сословие компьютерщиков, деливших мир на своих и чайников. Пришел Сорос и выдал каждому практикующему гуманитария доллары на обзаведение электронным железом. В магазинах появились лезвия и бритвенные станки «Gillette», раньше их мог себе позволить разве что мореман Тамбовцев в загранплаваниях. Одна из первых телевизионных реклам пела: «„Жилет“ — лучше для мужчины нет!» Население повторяло этот слоган днем и ночью, доверчиво пожирая рекламу.

Купив Пи-Си на деньги Сороса, Тямлев включился в общие беседы о e-mail и базе данных и сам не заметил, как очутился на международном семинаре «Гуманитария и компьютер» во Франкфурте. Он впервые попал в Западную Германию; до этого бывал только в Восточном Берлине (белесое небо, пепельные дома, серые мундиры), в Лейпциге (закопченные вывески, заросшие бурьяном шпалы и праздные рельсы на Баварию), в Галле (химические ветры с берегов Заале, обветшавшие особняки бывших адвокатов и дантистов).

Июньский закат отражался в золотистых небоскребах. Блестели треугольные фасады восстановленных зданий, по широкому Майнцу двигались прогулочные суда, распространяя аромат колбасок и воркование ламбады. На улице Гёте между роскошными магазинами звучала песня крокодила Гены «К сожаленью, день рожденья только раз в году». Играли двое усачей. «Молдавانه, отец и сын», — решил Тямлев. Старший пиликал на скрипке, прижимая ее к животу, молодой дудел на блок-флейте. «По-французски *une flûte à bec* — флейта с клювом», — вспомнил наш филолог, а скрипач, угадав в нем новичка, сказал четырехстопным ямбом: «На Шиллерштрассе все дешевле». Немцы, благодарные русским за уход из Восточной Германии, бросали молдаванам пфенниги в жестяную коробку из-под леденцов.

В Университете Гёте Тямлеву выдали пухлый конверт с суточными, оранжевую сумку с логотипом семинара и опознавательный бэйджик. Вместе с другими он оказался в большой аудитории, где докладывал, блестя черепом, Чарльз Доллар, пионер электронного архивирования. Тямлев записал: «Чем новей технологии, тем быстрее они устаревают. За время существования электронных архивов мы уже безвозвратно потеряли массу документов из-за несовместимости старого оборудования с новым. Недаром проект, анализирующий эту проблему, называется „Страшный суд“, а список устаревших форматов — „Палата ужасов“».

Доллару аплодировали, в знак одобрения немцы хлопали ладонями по столам и топали ногами. В коридоре пили кофе из тяжелых белых чашек, а после энергичный британец Шимус Росс пробовал связать электронные архивы с демократией и финансовыми потоками. Дали слово Тямлеву, он развлек слушателей, рассказывая о реакции компьютеров на прихоти русской классики. Железо зависало, не понимая, на каком языке написан текст. Например, цитировал он Мятлева: «Точно будто нездорово // Вымолвить по-русски слово <...> // *Же не ве па, же н'ирэ па, // Же не манж па де ла репа*». Так же зависало оно, пытаясь читать одновременно слева

направо и справа налево. «Все равно что включить разом переднюю и заднюю передачи», — пояснял Тямлев, никогда не водивший машину.

Участников семинара принимали на загородной вилле семейства Шёнemann, знаменитого тем, что ровно двести тридцать шесть лет назад оно произвело на свет Лили, невесту Гёте.

Звенела посуда, гудела беседа, дышало пламя свечей. Ослепительная хозяйка («Васильки во ржи», — подумалось Тямлеву чьей-то цитатой) водила гостей вдоль семейных портретов. Дошла очередь до темного полотна с легендарной Лили, она же Анна Элизабет, похожей на колли в пепельных буклях.

— Ага, теперь понятно, почему Иоганн Вольфганг сбежал от нее к герцогу в Веймар! — проговорил Тямлев вслух и густо покраснел.

Хозяйка улыбнулась ему своими васильками:

— Не извиняйтесь. Я с вами совершенно согласна, тем более что я Шёнemann только по браку, — и чокнулась с ним бокалом херреншпритцера, аристократического ерша из шампанского с рейнским.

Основным кушаньем оказалась свежая, как поцелуй ребенка, свинина под франкфуртским зеленым соусом из йогурта, яиц и семи трав. Травы эти хозяйка на пальцах перечисляла гостям: кресс-салат, щавель, петрушка, кервель, но дальше сбивались и начинали спорить между собой. Одни называли мелиссу, шпинат и базилик, другие — укроп, любисток и загадочную траву бораго, третьи — листья подорожника, ромашки и одуванчика. Зато сходились на том, что Grie Sosse — это любимый соус Гёте, изобретенный его мамой.

За столом Тямлев встал рядом с нестареющим, но слегка подсохшим Клодом Регуром, тот объяснил, что бораго, сиречь огуречная трава, лучшее средство от дурных предчувствий и ночных страхов. «За это и выпьем, — провозгласил Клод, чокаясь со всеми водкой „Горбачев“. — Похоже, мы тут с тобой единственные россияне, не считая Шимуса Росса и Карла Хайнца Бохова. Карл Хайнц приехал с Востока, он *осси*, а Шимус разве не может быть потомком храбрых россов, а, Петья?» На что Петя срифмовал: «Похож на россов Шимус Росс, как мой ответ на твой вопрос!»

Кудрявый Шимус, уловив созвучие, засмеялся: «Русский с ирландцем братья по бедности и склонности к пьяным разговорам о любви и смерти». Долговязый спортивный Карл Хайнц подхватил: «Нам в Веймаре тоже никуда не деться от подобных разговоров: живем между Бухенвальдом и Брокеном, куда ведьмы слетаются на шабаш».

Разговор о любви и смерти продолжился за столиком на палубе теплохода, бороздившего воды Майнца под раздражающие техноритмы. Из бембеля, сине-белого кувшина, пили яблочный сидр, заедая «ручным сыром с музыкой», роль музыки выполнял резкий запах маринада с луком.

— Что такое *осси*? — спросил Петруша.

Вместо ответа Карл Хайнц достал из кармана черный фломастер и вывел на бумажной салфетке какие-то знаки.

— Читай! — предложил он официанту, внесшему новый бембель.

Тот смутился:

— Я не читаю по-гречески.

Карл Хайнц передал салфетку Тямлеву. Чертежным шрифтом там было выведено: «ВЕНН ДУ ДАС ЛЕЗЕН КАНСТ, БИСТ ДУ КЕЙН ДУММЕР ВЕССИ!!»³

— *Весси*, если он не специалист по России, русских букв не разбирает, а всем *осси* в ГДР вдалбливали кириллицу в школе. Буквы мы знаем, а язык нет.

Петруша вспомнил, как послевоенное поколение ленинградских школьников отвергало немецкий. Он сам придумал тогда стишок:

Дорогой немецкий друг, покажи,
 где в немецком языке падежи.
 Безразличны, как шарманки мотив
 Genitiv, Dativ und Akkusativ.
 Это прямо не падеж, а падёж.
 Если пива не поешь, не поймешь.

Оказалось, что говорить по-немецки не обязательно: при любой заминке немцы охотно переходили на английский и еще охотней на французский. «А как у вас с ирландским, Шимус?» — «Ирландский нужен как приправа к основному блюду. Мы навязали англосаксам бой на их языковом поле и переросли неприятеля», — мрачно объявил Росс. «Рос ли Росс? — подумал Тямлев, и ответ пришел незамедлительно: — Не вырос, но рос, пока турысы снимал с колес».

Когда на столе появился очередной бембель, Шимус порадовал сокувшинников новым полетом ирландских турусов, предсказав, что через несколько лет Европа перейдет на единую валюту и расстанется с франками, марками, гульденами, лирами и пезетами. Разошлись под утро, ибо стояла самая короткая ночь в году — ночь на 22 июня.

Над Питером, как некогда над Британской империей, солнце не заходило. Под ногами лежали четкие, будто вырезанные из черной бумаги, тени деревьев Конногвардейского бульвара. По абрису легко различались листья лип, дубов, клена и, кажется, ясеня. У парадного подъезда громоздилась мебель, особенно жалкая в безжалостном свете: обеденный стол, стулья, шкаф, четырехгранная этажерка, связки книг. На глазах у Танты Веруни блестели слезы: тямлевская коммуналка расселялась.

Напоследок Петр и Саша поднялись наверх — убедиться, что ничего не забыто, и отдать ключи риелтору, давнему знакомцу Генке Эвальду, нашедшему себя в прибыльном и рисковом деле. В разоренной квартире было пусто, двери нараспашку, паркет дыбом, обои клоками. Из-под обоев желтели выцветшие газеты: «Правда» со скучными и страшными заголовками, глубже — «С.-Петербургскія Ведомости» с объявлениями в траурных рамках, еще глубже — ломаные витиеватые буквы «St. Peterburger Zeitung», один культурный слой за другим.

Эвальд, полноватый немолодой мужчина, похожий на Карлсона, выламывал на кухне старинный бронзовый штырь, запиравший раму окна. «Странно, — ворчал он под нос, — уцелело в местах общего пользования».

Действительно, капитальные ремонты, прокатившиеся в семидесятые по старому фонду, лишили город бронзовой и медной фурнитуры: дверных ручек, шпингалетов, входных звонков и прочего; исчезли декадентские витражи и цельные стекла, прозрачные или матовые, чудом перенесшие разруху Гражданской и стужу, обстрелы и налеты блокады. Но в тямлевской квартире баба Ньюша неусыпно следила за рабочими во время нечастых ремонтов, и те вели себя смиренно.

Генка принял от Тямлева ключи («от квартиры, где деньги лежат»), вытащил захватанную бутылку шведского «Абсолюта», где водки оставалось на донышке, и предложил выпить из горла на посошок. Уходя, ловко свинтил тяжелую ручку с двери Гранмаман, а Петр вспомнил, как у них в прихожей четверть века назад пропал габардиновый мантиль отца, в котором баба Ньюша ходила за провизией.

На лестнице допили водку, Генка интересовался, принимают ли во Франкфурте петербургских немцев на жительство. К петербургским немцам он относил себя, хотя по паспорту числился эстонцем. «Когда я сказал мамане, что фамилия у нас вроде немецкая, она меня по лбу карасинкой шарахнула!»

В последний момент Саша метнулась назад и вынесла из покинутого жилья японский гриб в банке, его чуть не забыли, как Фирса в заколоченном барском доме. «Прощай, вишневый сад!» — Саша перекрестила запертую дверь.

Началась новая жизнь в двухкомнатной квартире двенадцатизэтажки на Комендантском аэродроме. Комнаты казались тесными, потолки низкими, ландшафт безликим, хотя Генка уверял, что выбрал для школьного друга лучший из невозможных вариантов. Напрасно Танта Веруня утешала себя и домашних, обращаясь к истории. С Коломяжского ипподрома Григорий Пиотровский на аппарате «Блерио» совершил первый в мире перелет из Питера в Кронштадт, здесь Блок наблюдал гибель русского авиатора Смита: *Уж зверь с умолкшими винтами повис пугающим углом, ища отцветшими глазами опору в воздухе пустом.*

Не помогал и вид с десятого этажа: слишком высоко и пусто.

Напрасно Саша украшала новое жилье полевыми цветами, купленными у метро «Пионерская», Тямлев отрешенно сидел между неразобранными пачками книг, время от времени приговаривая: «Я хотел бы жить в Андорре на десятом этаже, чтобы здесь не мыкать горе в коридоре в неглиже». Попугайчик Яша, не сумев запомнить тютчевское «Умом Россию не понять», шептал из клетки на холодильнике: «Умом...», но сбивался на привычное «Летим в Париж!» Похоже, новое место пришлось по вкусу только японскому грибу: он так разросся, что пришлось переселить его из трехлитровой емкости в пятилитровую. Саша часто разговаривала с ним, обращаясь по имени, а Фирс отвечал благодарным бульканьем.

Иногда заглядывал мореман Тамбовцев, обосновавшийся в Озерках. Пили спирт из граненых рюмок, вспоминали анекдот из голицынских «Записок уцелевшего», которые Гранмаман читала перед смертью. Для перемещения бывших людей молодая советская власть учредила жилищные отделы по уплотнению, сокращенно ЖОПУ, и красные чиновники советовали посетителям: «Идите в ЖОПУ».

«Вот мы в нее и попали!» — бодро восклицал мореман, хрустя соленым огурчиком.

Золотой осенней порой из почтового ящика извлекли длинный иностранный конверт. Писал Клод Регур, на этот раз как официальное лицо: «В текущем году исполнись сто пятьдесят лет со дня кончины поэта Мятлева, пропагандиста французского языка в России, а в 1996-м исполнится двести лет со дня его рождения; в этой связи профессору Тямлеву предлагается трехлетний контракт для чтения соответствующих лекций в университетах Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии».

Танта Веруня тут же открыла синий томик «Библиотеки поэта» и зачитала из «Сенсаций и замечаний госпожи Курдюковой...»:

Первой станцией считают
Наши Франкфурт, как бывают
За границей, и всегда
Все собираются туда...
А оттудова, глядишь,
Отправляются в Париж.

— Летите, — велела Танта. — Мы с Яшей васждемся.

Прежде чем улететь, пришлось отпроситься в долговременную командировку без оплаты (либеральное начальство отпустило с легкой грустью, но без проблем), заверить переводы дипломов и свидетельств, получить нужные приглашения и визы, добыть билеты и деньги. Ньюшино золото Саша загнала знакомым реставраторам за двадцать тысяч долларов, по тем временам огромные деньги, а бесценный

империал зашила в кожаную ладанку и повесила на шею. Хотели поделиться деньгами с Веруней, та отказалась наотрез: «Мне много не надо, *на жизнь хватает*», — повторяла она слова своего внучатого племянника Дениса. Внучатый племянник, кто нынче помнит, что это такое! Как рифмовал Тямлев: «Разведены еще до сватовства, мы позабыли термины родства».

Серый Париж так же не похож на серый Берлин, как французское gris на немецкое grau: город на Шпрее свинцовый, мышинный, пепельный, а город на Сене матово блестит старым перламутром и серебром — так думал сорокавосемилетний повеса, взбираясь от метро «Anvers» на Монмартрский холм, где на треугольной площади располагалась студия, их временное жильё.

Неважно ориентирующийся в новых местах, в Париже он чувствовал себя как дома: *déjà vu*. Впрочем, и в родном Петербурге Петруша никогда не был уверен, что за углом его ждет привычная картина: *jamais vu*. Безымянный ворон Эдгара По с картавым *Nevermore*, обернулся на берегах Сены вертинским попугаем Флобером, жужжащим *Jamais*: «Он всё кричит „жамэ“... и плачет по-французски».

Пока Тямлев общался с французскими чиновниками, оформляя документы, необходимые для жизни в европейской стране, Саша обживалась: без труда освоила разговорный французский, получила скидку в соседней лавке у арабов, научила Тямлева покупать красное вино не бутылками, а канистрами, а билеты в метро — тетрадиками. На треугольную площадь явился с визитом старый Galitzine Большие Уши, приведя с собой кряжистого барона Черкасова и рыхлого мэтра Рибо, совсем непохожего на француза. Еще в Питере Тямлев сложил народную поговорку: «Француз кургуз, а тевтон моветон», — но немцы выглядели умеренными в манерах и одежде, а вот французы и впрямь оказались щуплыми и короткополыми. Только не нотариус Рибо, у которого к супругам Тямлевым имелось весьма неотложное дело.

Когда барон допил вино и раскланялся, мэтр заговорил. Galitzine помогал ему, как мог: махал руками, скаля большие зубы, пытался переводить на русский особо заковыристые юридические термины (*taxe foncière, taxe habitation, plus value, impôt de solidarite sur la fortune*)⁴; но Тямлев толком не понял, о чем шла речь. Выручила Саша: «Вы оставьте документы, а мы почитаем и решим». Мэтр Рибо вынул из лоснящегося портфеля стопку бумаг и положил на стол: «Девиз нашей корпорации — честность, бескорыстие и безграничное терпение».

В дверях Galitzine пропустил мэтра вперед, обернулся к супругам и прошептал по-русски: «Формально я инициатор трансакции, но фактически, вы знаете, выполняю последнюю волю Надежды Эммануиловны». Выходит, Гранмаман завещала им деньги и квартиру, представив это как дар от резидента Франции. Дальше начинались загадки. Деньги на Петрушино имя лежали почему-то в швейцарском банке кантона Во, а квартира, предназначенная Саше, находилась в городе Бордо. Ухищрения эти можно было истолковать желанием уйти от лишних налогов, но как объяснить происхождение самого наследства? Откуда взялось, как уцелело и почему достается им? Так и не разобравшись, они уснули.

На заре Саша разбудила Тямлева поцелуем: ей приснилось, что Гранмаман в длинной ночной рубашке скользит в лунном свете и безмолвно шепчет. По губам читалось: «Идите и примите с верой».

Пробная лекция состоялась на западе Парижа в бывшей штаб-квартире НАТО, а ныне университете Dauphine, или Париж-IX. Тямлев говорил о записках русских путешественников от Карамзина до госпожи Курдюковой. Битый час отвечал на вопросы, среди которых преобладал экономический уклон: на какие средства Ка-

рамзин предпринял свой вояж, как Курдюкова управляла имениями, каков был курс рубля к франку, использовались ли в России аккредитивы для зарубежных поездок? Когда все закончилось, к Тямлеву подошел человек в красном шарфе поверх черного костюма, в стиле наполеоновского маршала Бертье, представился «мсье Лена» и объяснил: «Большинство студентов изучают экономику культуры и культуру экономики, отсюда специфика их интересов».

Клод Регур и мсье Лена отвели Петрушу через дорогу в Булонский лес. Старички в беретах, невзирая на декабрьский холодок, играли в петанк, катая по земле металлические шары, рядом с опрятными вагончиками, откуда за их игрой наблюдали досужие проститутки. На одном окне занавески были задернуты, рессоры ритмично покачивались: девушка работала. Игнорируя привычное зрелище, французские коллеги предложили Тямлеву выбрать маршрут лекционных гастролей. Он назвал Лозанну и Бордо, помедлил и добавил наобум Anvers, по-нашему — Антверпен. Маршрут немедленно уважили. Да и как могло быть иначе в медовый месяц любви к новой России!

Новый год супруги праздновали вдвоем в студии на треугольной площади. Саша приготовила буйабес — марсельскую уху по-нормандски с орехом и кальвадосом; пили красное вино, закусывали сыром, звонили Денису в Лос-Анджелес и Танте Веруне в Петербург. Американский сын толковал о компьютерах, Веруна бодрилась: здоровье отменное, скучать некогда, строю планы на будущее.

Старый Новый год отмечали в семействе князя Мурузи близ Люксембургского сада. Князь Константин Павлович почти не говорил по-русски, и когда он начинал фразу с «Nous», было не сразу понятно, кого он имеет в виду под этим «Мы»: русских патриотов-монархистов, французов, или, может быть, знатных греков Константинополя и Трапезунда, или наследников молдавско-валахских господарей. За просторным дубовым столом на фоне огромного гобелена и фамильных портретов князь разливал шампанское. Его жена-француженка Сюзанна («зовите меня Сюзанка») произносила с милым акцентом тост «За нашу Россию!», а сын-подросток Александр тихо уточнял: «A l'URSS!»⁵

Предки князя были глазами и ушами русского царя в Стамбуле, построили знаменитый доходный дом в Петербурге, где жили русские литераторы от Мережковского с Гиппиус до Иосифа Бродского, создали российскую военную авиацию, противостояли (без особого успеха) большевикам на Северном фронте, писали исторические романы, вели передачи на французском телевидении. Сам Константин Павлович возглавил ассоциацию святого Владимира для устройства русских концертов в Париже и помощи детской больнице Марии Магдалины в Петербурге. Тямлев познакомился с этим семейством в городе на Неве, открыв им дом Мурузи, о котором они не подозревали.

К Мурузи убежала княжна Вера Оболенская: вышла замуж за питерского художника, покрасила волосы, уезжает в Россию. «Там у людей совсем другие лица, сырые, непропеченные. Вот у вас, Петр, — кокетничала она с Тямлевым, — прежнее лицо, а ямочка на подбородке совсем как у пушкинского Мятлева, — затем перевела взгляд на Сашу: — И у вас прежнее».

«Скажите, Петя, — улыбалась Сюзанка, — что в новой России думают о возврате монархии?» — «Не знаю, — отвечал Тямлев. — Меня с детства приучили относиться к монархической идее с почтением. Но главный монархист у нас в семье попугай Яша; он постоянно твердит: „Матушке царице виват!“» Поскольку разговор шел по-французски, Яшин слоган прозвучал: «Vive l'Impératrice Mere!»

«Видишь, Александр, — сказал Константин Павлович сыну, не проявлявшему интереса к застольной беседе, — как в Петербурге сохраняется русская традиция

франкофонии... — и после паузы обратился к гостям: — А не отдать ли сына в Ленинградское Суворовское училище? Каков будет ваш вердикт?» Саша ответила за всех: «Боже упаси!»

Настал день, когда Тямлев отправился в Лозанну, оставив Сашу в Париже подписывать бумаги с мэтром Рибо и доделывать узорный переплет, заказанный через барона Черкасова неким тибетским монахом.

Путешествие с Лионского вокзала заняло меньше четырех часов, как от Питера до Бологого. Пролетевший мимо Дижон отозвался песенкой, которую девяносто лет назад пела вся Россия за Михаилом Кузминым: «Теперь твои губы, как сок земляничный, щеки, как розы Gloire de Dijon». Щеки цвета чайной розы — сомнительный комплимент, но в теплых краях с лепестков исчезает желтизна, и они розовеют, кровь с молоком. «Сладкие поцелуи», — так отвечала Саша на экзамене у Гранмаман.

В Лозанне ожили карамзинские строки из «Писем русского путешественника»: «...исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти в яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или всходить на гору. Улицы узки, нечисты и худо вымощены».

Насчет улиц — прогресс налицо, но косогор никуда не делся: быстрые лозаннские троллейбусы преодолевают кручи с неожиданной ловкостью, напоминая коров на склонах Дагестана. Люди передвигаются на самокатах и лифтах. Повсюду слышна итальянская речь, ибо итальянские голоса звучнее французских. Только взобравшись на гору, понимаешь, что Лозанна живописна и даже уютна. И Карамзин признавал: местными видами на Женевское озеро и Савойские горы невозможно насытиться.

В банке кантона Во, чинном, как храм, Тямлева известили: на его счету сто двадцать восемь тысяч швейцарских франков, выдали чековую книжку и пластмассовую карточку. Вместо нечаянной радости он испытал неловкость и разочарование, будто его приняли за другого. Как пользоваться карточкой? Он подошел к банкомату, ввел ПИН-код, нажал кнопку — из аппарата выползла шуршащая стофранковая купюра. Никто не обратил внимания. Уладив денежные дела, он поспешил в собор, чтобы перед лекцией увидеть главную достопримечательность русской Лозанны: воспетую Мятлевым гробницу Орловой, урожденной Зиновьевой.

Из печатной афишки Тямлев знал, что его лекция состоится в Palais de Rumine на площади Рипонн, но лишь на подходе к громадному флорентинскому палаццо сообразил, что это и есть знаменитый Дворец Рюмина, дом шести музеев и двух библиотек. В читальном зале университетской библиотеки собралось человек двадцать, в основном студенты, несколько ироничных доцентов в длинных шарфах и два-три любопытных старичка. В углу дремал нетрезвый клошар.

Обращаясь к молодым, Тямлев начал с двадцатитрехлетнего Карамзина, открывшего Лозанну русскому читателю, умолчав о его резких оценках. Перейдя к Мятлеву, он подчеркнул, что этот эпикуреец и гурман оказался в Европе семнадцатилетним корнетом Белорусского гусарского полка. Несмотря на дождь и грязь, полк славно рубился с кавалерией маршала Макдональда, шотландскую фамилию которого перевешивал четырехчлен французского имени Жак-Этьенн-Жозеф-Александр, и опрокинул французов в Кошачий ручей — Кацбах.

Главное Тямлев приберег под конец. В главе «Лозанна», поведал он аудитории, мятлевская героиня Курдюкова посещает сумасшедший дом, где среди пациентов обнаруживает своего создателя, автора поэмы.

Он на том с ума рехнулся,
Будто в бабу обернулся,

И во сне, не зная сам,
Вдруг он сделался юн дам!
...Уж рассказывать удал,
Где скитался, где бывал...
И всё русские слова
Он в рассказ французский сует
И без умолку толкует!

Цитату иллюстрировала гравюра Тимма, столь любимая Веруней: поэт смотрит в зеркало, а в стекле отражается госпожа Курдюкова. Заключение очень понравилось смешливым юнцам, а один из старичков, отрекомендовавшийся когнитивно-поведенческим терапевтом, уговорил Тямлева повторить лекцию для его клиентов: «Вас будут слушать потомки тех больных, которых видела героиня русского автора! На редкость благодарная публика».

Встречу назначили на следующее утро, и Тямлев на прытком троллейбусе отправился к Лиману, или Женевскому озеру, где наблюдал, как озябшие лебеди устроили гонки, бегая по воде, будто по льду. На мачтах развевались красные флаги, отличавшиеся от пиратских только тем, что на них не было черепа, а скрещенные кости заменял белый крест. На рынке, развернутом прямо перед дворцом Рюмина, торговали грибами с красноречивым названием *magasme*, или «болотные». Тямлев разговорился о грибах с колбасником Ангелуччи, который принял его за румына.

Пациентов доставили на автобусе, они заняли почти весь зал кантональной библиотеки. «У нас так мало места, — извинялся служитель. — Но когда появится мудак, все изменится». Его слова подхватили: «Мудак исправит положение, будет где развернуться и для лекций, и для выставок». В конце концов выяснилось, что мудак — это MUDAC — запланированный на Соборной площади Музей дизайна⁶.

Среди новой аудитории Тямлев узнал кое-кого из бывших накануне в университетской библиотеке. То ли гуманитарные науки влекут психов, то ли занятия в университете сводят с ума. Публика смеялась, повторяла слова и жесты лектора, выкрикивала какие-то рифмованные лозунги. Когнитивный старичок, сидевший рядом, протянул Петруше записку: «Не реагируйте. Глазнично-лобный синдром выражается в детской непосредственности, смешливости, склонности к передразниванию и рифмоплетству».

Опять было много вопросов. Любопытствовали, когда и отчего умер поэт. «В сорок восемь лет, объевшись блинами на Масленицу». Последним встал седой человек со знакомым лицом. «Я Микаэль Родос, — значительно произнес он. — У меня один вопрос: сколько времени?» В зале засмеялись. Тямлеву показалось, что все это уже было. «Когда так спросили русского поэта Батюшкова, он отвечал как масон: вечность, и его сочли душевнобольным», — сказал, смутился, покраснел.

Перестук копыт, посвист кучера: прощай, Лозанна! Новая перемена — необъятная река несет свои мутные воды в Жирондскую дельту. Впереди Атлантика, за спиной Средиземное море, под ногами мостовые Бордо, столицы Аквитании.

В университете имени Монтеस्कье Тямлев дерзко сравнивал Монтеस्कье с Мятлевым. В «Персидских письмах» великий француз (точнее, француз по отцу, англичанин по матери) посмотрел на свою родину глазами персидских путешественников, скромный русский увидел Европу взором тамбовской помещицы: и там, и там — эффект остранения. Но уроженец замка Ла-Бред критикует общество и нравы Запада и Востока, а петербургский бонвиван утешается легкой игрой в русско-французские погрешности.

Аудиторию заполнил парижский мэтр Рибо. «В Водуазском кантональном бан-

ке все прошло нормально, — констатировал он. — Завтра уладим жилищные дела в Бордо». Он увлек Тямлева на улицу, где у беломраморной статуи обнажающейся женщины, задравшей темное платье до шеи (памятник Натуре), предложил заняться дегустацией бордоских вин: сегодня *Mardi gras*, скоромный вторник, последняя возможность оторваться по полной.

Ели лососину и молодых угрей с лесными ягодами, далее — миноги в красном вине, аркашонские устрицы, двустворчатые раковины морских гребешков. Запивали винами с легендарными именами: совињон, каберне, медок, сотерн. Тямлев хотел узнать побольше о негладанных дарах, но мэтр Рибо, увлеченный трапезой, сворачивал разговор на еду и напитки, уговаривал попробовать *côtes* (что за Марди гра без блинов!) из гречневой и каштановой муки с лососем под соусом бешамель.

«На ваших харчах чех чах, а галл рыгал!» — скаламбурил Тямлев. Мэтр не понял, но утвердительно кивнул: «Люблю местную кухню. Ведь мои предки пираты-гугеноты из Ла-Рошели». Петруша вспомнил уроки Гранмаман и затянул «*Les filles de La Rochelle*», мэтр Рибо уверенно подпевал надтреснутым баритоном. За кофе выпили коньяку (Коньяк — совсем рядом с Бордо!), заели *макаронами* — маленькими круглыми пирожными из тертого миндаля. Вышли на воздух, и пока не захлестнул гул карнавала, успели съесть уличный блин с мороженым, пикантное сочетание холодного в горячем, как выразился Рибо.

По трамвайным путям шли трубочисты в цилиндрах с белыми плюмажами, шагала рослая невеста под кружевным зонтиком, в платье со шлейфом и шуплым женихом во фраке, за ними — полосатые чудовища, достававшие остроконечными головами до балконных решеток. Над шествием качались желтые восьмиконечные звезды на шестах. Люди тащили телеги с рогатыми монстрами, топорщились мочальные бороды, колыхались плащи, расцвеченные красно-бело-зелеными ромбами. Плыли корабли под черными пиратскими флагами, скалились белые черепа со скрещенными костями. Двигались подводы с пиратами в треуголках и тельняшках, брыкались тряпичные лошади в черно-белую полоску, кривлялись лиловые негры с бубнами, ряженые ацтеки с ирокезами, папуасы с акульими хребтами, колонизаторы в пробковых шлемах, чертенята.

У Тямлева закружилась голова, он распрощался с мэтром Рибо, едва добрал до гостиницы, упал на кровать и умер.

Темные воды обняли тело холодом. Волосы опалял светящийся ветер, в нем различалось женское лицо. Мама? Веруня? Саша? На щеки капали живые капли — слезы и кровь. Сашины пальцы гладили его ладонь, Сашины губы трогали его живот. Тямлев набух, излился и раскрыл глаза. «Ты порезал руку морским гребешком, — сказала Саша. — Надо наложить швы. Здравствуй!»

Ладонь зашили в университетской клинике (швы снимать не надо, через три дня нить растворится без следа), и мэтр Рибо как ни в чем не бывало повел их смотреть квартиру на *que Dieu*⁷. «Чудесный адрес!» — заметил воскресаящий Тямлев. Но мэтр, похоже, не видел в адресе ничего особенного: «Да, удачное расположение, старинный квартал рядом с рекой на традиционном пути паломников к святому Иакову в Сантьяго-де-Компостела». Представилось, как идут вереницей паломники в черных шляпах с белыми кокардами — створкой раковины морского гребешка, логотипом британской нефтяной компании «Шелл».

Потомок ларошельских корсаров извлек из портфеля связку ключей, отпер входную дверь и провел Тямлевых на второй этаж по широкой винтовой лестнице с чугунными перилами. «Две спальни, гостиная, кухня и ванная, — объяснял он. — В ремонте не нуждается, ибо мсье *Galitzine* сдавал жилье немецким гостям, солидным людям. Накануне проведена полная уборка».

Паркет застелен яркими половиками, кухня и ванна сверкают, на обеденном столе подсвечник с желтыми восковыми свечами, в кувшине синие ирисы, тахта застелена свежим бельем. «Во второй спальне устрою мастерскую», — сказала Саша. Мэтр Рибо извлек бутылку лафита «Ротшильд» и выпил с ними за новоселье. Тямлев поднес темное вино ко рту, подышал вином и отставил бокал.

В мастерской на улице Бога запахло каштановыми досками. Саша ловко орудовала молотком-колотушкой, разномастными ножами, стамесками, ложечками, резцами для мелкой резьбы. Каждые полчаса инструменты «садились», их приходилось заправлять, чтобы все шло как по маслу. Над одним завитком она проработала полдня: тибетской буквой «б». Почему «б»?

— От слова «Бардо».

— Бардо?

— Нет, Бардо.

Саша объяснила, что барон Черкасов передал очередной заказ от таинственного монаха: реставрация рукописи «Бардо тхёдол», тибетской «Книги перехода», и воссоздание крышки-переплета. Фотография образца стояла на пюпитре — зеленое поле, выпуклый золоченый орнамент, в рамке-сердечке улыбается толстощекий перерожденец, оваянный кармическими вихрями. Рядом лежала рукопись — длинная пачка серой тибетской бумаги. «Мрак карм», — подумал Тямлев навыворот.

В декабре Тямлевы собрались на родину — отмечать день рождения Танты Веруни. До этого Петр побывал с лекциями во франкоязычном Брюсселе у отзывчивых валлонов и в Антверпене на широченной Шельде без мостов у сдержанных фламандцев и самодостаточных евреев в бобровых шляпах. Из лекций получилась книга «Открытие Европы: французская речь в русских травелогах».

«Как ты изменился! — встретила их Танта. — Седина в волосах, возмужал, уже не Петруша, настоящий Петр Иванович. Куда делась ямочка на подбородке? А ты, Сашенька, все цветешь, не ждете ли прибавления семейства?» Расспросы прервал попугай Яша. Он посмотрел на Сашу, взмахнул крылом и театрально прошептал: «Голубчик, чаю хочешь?»

За чаем разговор неизбежно перешел на чудесные сокровища, о которых по телефону и в письмах упоминалось обиняками. Сделав значительное лицо, Веруня дала понять, что для нее тут нет никакого сюрприза, Гранмамман обсуждала с ней детали: не наследство, а дар от французского подданного (для чего и был избран давнишний наперсник Galitzine), деньги и недвижимость делятся между Петром и Сашей, чтобы не платить налог на роскошь. «Великолепно, — перебил Тямлев, — но откуда взялась сама эта роскошь и как она пережила лихолетье?» Тетка легкомысленно тряхнула головой: «Какая разница? Все это ваше» — и согласилась принять от них кое-какие презенты только после Сашиного рассказа о ночном появлении Гранмамман: «Примите с Верой».

Когда в точности родились Вера и брат ее Иван, неизвестно. Однако их усыновитель Виктор Францевич Клемент мудро избрал для этого 25 декабря, чтобы совместить домашний праздник с западным Рождеством. На сей раз волхвы принесли итальянскую стиральную машину, микроволновку («Это совсем ни к чему: волны вредны для здоровья»), компьютер, японский телевизор, телефон с автоответчиком и прочие бытовые игрушки, недавно появившиеся в российских магазинах. Веруня в меру благодарила, но чувствовалось, что мысли ее далеко.

После того как помянули Ивана Тямлева и выпили за здоровье Веры, она вынула из папки листки машинописи и продекламировала с чувством:

Господь! К Тебе взываю паки:
Не допусти меня пенять
И даждь мне денежные знаки
Приобрести и разменять.
И в оны дни народоправства
И обновленья бытия
Не наказуй меня без яства
И не оставь без пития.
И вместо неких риз кувалды
Меня, как прежде, облеку
В шитьем украшенные фалды
И белоснежные портки.

— Знаете, что это такое? — спросила она с торжеством.

— Знаем, — ответил Петр. — Стихотворение «Молитва перепуганного буржуа», написанное Владимиром Мятлевым в 1919 году.

— Ты знал и молчал! — вскричала возмущенная Танта. — А я должна узнавать об этом от наших парижских друзей?

— О чем об этом?

— О «неких риз кувалды». Мятлев подрабатывал в Одессе молотобойцем, значит... *дети Владимира Тямлева, молотобойца* из записки в медальоне, — это прямое указание, что наш отец, а твой дед — Владимир Петрович Мятлев!

— Милая Танта, — сказал Тямлев с редкой серьезностью, — я думаю, оборот с кувалдой употреблен ради рифмы к мундирным фалдам, расшитым золотом. Ты же сама знаешь, куда заносит домашних рифмоплетов. Давай не путать жизнь с литературой.

Утром он дописал стихотворение про Летний сад на Лете. Вышло мрачно:

Погрузившим палец в Лету
в мир теней возврата нету.
Гол стоишь у мертвых вод.
Чтоб в преддверье похоронном
быть обысканным Хароном:
две подмышки, зад и рот.
Ох, дождемся ли, когда нам
Лета станет Иорданом?
Ну, прощайте. Боже мой,
над купелию худою
крестят мертвою водою
этот мир полуживой.

4. Родос

Девяностые стремительно шли под уклон, с ними уходило второе тысячелетие. В девяносто шестом Собчак проиграл выборы своему заместителю, крепкому хозяйственнику. Единственного мэра Петербурга сменил городничий, то есть губернатор, неглупый по-своему человек. В девяносто седьмом убрали трамвайные пути с Конногвардейского бульвара, и проезжую часть занесло песком, как сирийскую Пальмиру; в том же году Тямлеву стукнуло полвека.

В девяносто восьмом приключился российский дефолт и закончился мятлевс-

кий грант. Оба события не затронули нашего героя, ибо денег в российских банках он не имел, а университет Бордо тут же предложил ему трехлетний контракт. Книжка «Открытие Европы» была встречена благосклонно, доброжелательный отзыв появился даже в Квебеке, где взялись перевести ее с французского на английский. Кстати, в девяносто девятом Франция перешла на евро, оправдав прогнозы Шимуса Росса.

Лишь упрямые британцы предпочитали медленные бумажные письма в конвертах с марками. Остальной мир неотвратимо переходил на быстрый e-mail («Зашлю вам емелю», — выражались западные слависты). Инновацию подхватила Россия, от чего почтовое сообщение совсем расстроилось. Остроумцы сравнивали его с посланием в бутылке, пущенной по водам: обязательно дойдет, но неизвестно когда и в чьи руки.

Время от католического Рождества до православного Петр и Саша проводили в Питере с Тантой Веруней. Она научилась *засылать емелю*, но всякий раз для верности еще звонила по телефону. Насчет прибавления семейства больше не заикалась. Только однажды, когда Саша и Петр наперебой описывали тибетскую собачку Апсу, вздохнула и заключила некстати: «Уж больно вы поглощены друг другом».

Апсу, заросшая до самых глаз, напоминала кучку листового табака для скручивания сигар. В Бордо из Андорры ее привез тибетский монах на мотоцикле с коляской — гамбургский байкер Хольгер Кляйн. Он действительно провел три года в буддийском монастыре на Гималаях, но не в Тибете, а в Бутане. Это настолько бедный край, рассказывал Хольгер, что его денежная единица *нгултрум* никому не известна. Да и столица тоже. Зато далеко не все бутанцы знают, как мы называем их страну, для них она Друк Юл. Живут они продажей электроэнергии, кардамона и почтовых марок, а экономику измеряют показателем валового национального счастья.

— При чем тут Апсу? — прервала Веруня.

— А при том, что нищенствующие монахи выучили своих апсу так жалобно вздыхать, что у бедных мирян пробуждается щедрость — отдают последнее. Поэтому Хольгер Кляйн, теперь не монах, а автомобильный дилер, возит ее с собой, из Парижа в Андорру, из Андорры в Бордо. И хотя Апсу похожа на листья табака, курить в Бутане строго запрещается.

— Этот Кляйн хоть извинился, нагрянув с животным? — спросила Веруня. — Надежда Эммануиловна говорила, что мужчина не должен являться к даме в сопровождении собаки, если только его не просили об этом.

На елке — старые игрушки, знакомые полвека: позолоченный грецкий орех, белка-горничная из блестящего картона, одnogорбый серебристый верблюд, стеклянные шары: синие, малиновые, зеленые. У деревянного креста — дородный дед-мороз из папье-маше с красным посохом и мешком гостинцев. На ветках — последние елочные свечи и золотая канитель.

— Помнишь, Петруша, ты мне сочинил на шестидесятилетие: «Папа есть и у сатрапа, мама есть и у имама, а любимых дядь и тетя может и не дать Господь. Но у нас с тобою, Танта, кордиальная антанта». А теперь мне восемьдесят два, я выполнила свой зарок — дожила до двухтысячного года!

По семейному обычаю с первым ударом курантов каждый написал карандашом желание на папиросной бумажке, сжег над свечкой, стоящей у прибора, окунул пепел в бокал, чокнулся и проглотил шампанское до двенадцатого удара (Тямлев всегда боялся не успеть и всегда успевал). Наступил двухтысячный, все сбылось.

Утром, зайдя в Верунину комнату, обнаружили ее в кресле перед трюмо. Мертвой. У зеркала — старинная шляпка, на ней сверху брюшком — бело-синяя птичка в черную полоску, попугай Яша.

На поминки пришли сослуживцы с «Ленфильма» («Половина французских актрис говорит по-русски голосом Веры Владимировны!»), младшая подруга — восьмидесятилетняя Аня («Лучшие капустники на филфаке ставила Верунчик!»), Клод Регур («Благодаря Вере „железный занавес“ не был таким железным!»), мореман Тамбовцев («Заменяла Петру мать, так и не вышла замуж!»). Прислали телеграмму ветхие московские родственники. Явился Гера Дубин в треугольном малахае, привезенном из Турции. «Ну, французик из Бордо, — сказал он на прощание, — будешь в Питере, заходи. Живу я все там же, но теперь это не переулочек Ильича, а Большой Казачий, над Казачьими банями». В голове у Тямлева прозвучало: «Не знаю я ни *где* и ни *когда*. Пел на помолвках, нынче — на поминках. Куда ни глянь, везде зазоры льда, и известь выступает на ботинках».

Яшу закопали на границе России с Великобританией — в Смольном саду, под узловатым черным деревом неизвестной породы у британского консульства, в коробке из-под торта, положив туда его любимый колокольчик. Твердую землю ковыряли детской лопаткой. Тямлев вспомнил, как инвалид у пивного ларька говорил о войне: «Я думал, только бы не умереть зимой — застынешь и стоишь, где убило. А летом хорошо — разлагаешься, как человек. Летом я не боялся».

Вера Владимировна завещала развеять свой прах над водою — часть в Невской дельте, другую — в Черном море у Севастополя, на места гибели брата и невестки. Пока не нахлынула вторая волна холодов, Тямлевы исполнили ее волю у Летнего сада: рассеяли пепел с Прачечного моста, одетого гранитом еще при Екатерине. Для завершения дела дождались июля.

К Госпитальной стенке, где взорвался «Новороссийск», не пускали. Пришлось развеять прах с мыса Херсонес: там вел археологические раскопки приятель Мирон, похожий на Санчо Пансу. Совершив обряд, сели в кафе «Ампелос» с рабочими из Закарпатья, обновлявшими Свято-Владимирский храм, строенный в русском стиле академиком Гриммом. Сдувая пену с пшеничных усов, они поздоровались с Мироном и продолжили негромкую беседу на малопонятном языке.

— А вот анекдот, — рискнул Тямлев. — Приезжий спрашивает: «Дед, а где здись остановка?» — «Не остановка, а зупынка, а ты, москалик, вже приихав...» Последовал такой взрыв хохота, будто старая шутка только что родилась. Развивая успех, Тямлев продолжил: «Чув, диду, москалик у космос полетил?» — «Що, усь?»

Его хлопали по плечу, бригадир, шурша гривнами, заказал всем по новой кружке пива, подытожив: «Мудрість віків передається через рідну мову, — и, перейдя на безукоризненный русский, осведомился: — Откуда к нам пожаловали, сами из каких будете?» — «Из Петербурга, — отвечал Петр, умолчав о Бордо и москальских предках. — Отец мой записан белорусом». — «Вот и отлично!» — поднял кружку бригадир. Беседа оживилась.

В воскресенье пятьдесят тысяч севастопольцев, переговариваясь по-русски, собрались у Графской пристани на праздник военных моряков под присмотром камуфлированных стражей из украинского «Беркута». Реяли флаги — российские андреевские и украинские желто-голубые, гремело «Ура! Ура! Ура!». Выплывал флагман украинских ВМС — фрегат «Гетман Сагайдачный», сошедший с Керченских верфей как сторожевой корабль «Киров». Русские и украинские профи обезвредили вражескую мину и уничтожили вражескую подлодку. С украинского разведывательного катера десантировались морские котики, в небе шумела украинская морская авиация. Лица зрителей, сплошь причастных флоту, были задумчивы.

Где же козачьи дубки, на коих вещей Олег доплыл до врат Царьграда и ошарашил византийцев украинским воинским искусством — боевым гопаком? Вместо дубков по воде проносились аквабайки и скутеры; гордый бриг «Меркурий», запе-

чатленный кистью Айвазовского и лирой Дениса Давыдова, инсценировал победу над турецкими кораблями, одержанную сто семьдесят лет назад.

Вечером вернулись в Херсонес, и там, на отвесной скале, Саша взяла Петра за руку и прыгнула с ним в море. Вода ласково приняла их, они плавали, ныряли, смеялись. Выйдя на берег, Тямлев не сразу понял, что исцелился от страха перед морской пучиной, возникшего после гибели родителей.

Запивая теплую водку пивом, археолог Мирон, он же Санчо, произносил бесконечный тост: «Ну и кого Олег повел на Царьград? Он повел варягов, славян, чудь белоглазую, кривичей-радимичей, мерю немереную, древлян, полян, вятичей и разных прочих хорватов и дулебов. Эту сволочь греки называли Великая Скифь. Вот кто мы с вами, братья и сестры!» — «Да. Все мы Великая Скифь!» — соглашался грек Дионис Диметриос, который приехал из Афин пригласить украинских коллег на конференцию по мореплаванию. «Вот пусть Тямлев и едет», — сказал осоловевший Мирон. Тямлев согласился.

Стараниями Клода Регура питерскую квартиру на Комендантском аэродроме сняли французские русисты, пообещав заботиться о японском грибе Фирсе, подкармливать его сахаром и развлекать беседой. Университет Бордо съедал немало времени, поэтому в своем институте Тямлев перешел в консультанты, сохранив один спецкурс на филфаке и пару аспирантов. Зато завязались отношения с Музеем истории Санкт-Петербурга и Центральным военно-морским музеем. Тямлев начал готовиться к морской конференции, что не помешало им с Сашей, поддавшись на уговоры Хольгера Кляйна, съездить в Барселону.

По дороге заглянули в Андорру — поклониться Богородице Меритксельской, спуститься на лыжах с горного склона и узнать, есть ли в этом карликовом княжестве многоэтажные дома. Есть. Значит, можно жить в Андорре на десятом этаже с видом на автомобильные магазины. Но еще лучше жить в Барселоне — легком городе, которому все к лицу, даже безумные окаменелости Гауди с кукурузными початками Святого Семейства. Альбинос-горилла, краса местного зоосада, так пленил Сашу, что наедине она стала называть Тямлева Снежинкой. «Люблю тебя, Снежинка, и глажу твой живот. Как будто бы мы вместе, а не наоборот», — послала она ему эсэмэску, когда он вышел из гостиницы за ветчиной. В обиход раз и навсегда вошли мобильные телефоны, отделив настоящее время от домобильного.

Третье тысячелетие наступило на барселонской Рамбле под звуки каталанской речи. Она звучала на Пиренеях в битвах с маврами, преследовалась Бурбонами и Франко. Сейчас каталанский язык понимают десять миллионов человек, и Тямлев оказался одним из них. Мой язык — каталанский, мой танец — сардана, мое упование — свобода!

Швы на ладони и впрямь растворились, но остался зигзаг на полумесяце от основания безымянного пальца до мизинца — линия сердца у хиромантов. Саша утешала, что это ничего не значит: левая ладонь у мужчин говорит о вероятном, а не действительном, в отличие от женщин, у которых все наоборот. Вот у нее, например, линии судьбы на левой ладони начали проявляться только после встречи на катке.

«Да, — думал Тямлев, — я встретил тебя в Таврическом саду на замерзшем льду, ты окрестила меня в Бордо или Бардо мертвой водой и воскресила в Херсонесе живой таврической волной». Слова хотели построиться стихом, но он не позволил. Теперь рифмовала Саша — в формате эсэмэс:

Люблю я море и твои глаза,
Как пенный гребень волн, седые волоса.

Люблю нырнуть, и ощутить тебя во мне,
И ошупью искать сокровища на дне.

Конференцию по мореплаванию одобрил португальский контр-адмирал Вашку Фернанду ди Алмейда-и-Кошта, экс-губернатор Макао. Деньги выделило общество Ламброса Кацониса, национального героя Греции, пирата Екатерины Великой, воспитанного Байроном. Разумеется, конференцию стали называть пиратской. Жарким августом 2001 года ее участники собрались на острове Родос.

Кавалькада пыльных ослов взбиралась к акрополю Линда. Тямлев не попал в стремя и заваливался на бок, перед ним грациозно раскачивалась Саша. Дорический портик окружали византийские стены и крепость рыцарей-иоаннитов. С вершины открылся вид на бухточку с аквамариновой водой, где высаживался апостол Павел.

Заседали в городе Родос, за крепостными стенами и сухим рвом, в Доме магистра. Петр сделал доклад о средиземноморских галерах и российском флоте по русским и французским документам, Саша дополнила рассказом о модели мальтийской галеры из Военно-морского музея в Петербурге.

Прошлись по музею археологии. Чернолаковые сосуды для охлаждения напитков снегом напоминали о жарнице за окнами. Развлек набор керамических фалло-сов — от слишком больших до слишком маленьких: одни навязывали комплекс неполноценности, другие — укрепляли веру в собственные силы. Два туриста, подбадривая друг друга по-немецки, прыгали в крытой галерее, вспомнив классическую поговорку.

В музее Тямлев обратил внимание на запрещающий знак: черная такса перечеркнута крест-накрест красным. «Зачем специально писать, что в музей нельзя с собаками?» — удивился он и вдруг сообразил: это не такса, а видекамера, значит, подводит зрение. Не дай Бог стать слепым, как Гомер или Борхес. Слышать только прежние голоса и не замечать, как телесный мир ветшает и меркнет.

Танта Веруня умерла, а привычка засылать ей емели с описанием новых мест осталась. Теперь их читал сын Денис. В подражание Карамзину Саша назвала этот жанр «Электронные письма русского путешественника».

«Родос — родина прекрасного меда и обильной пресной воды, — диктовал Петр, а Саша стучала по клавиатуре. — Сюда прилетают голодные бабочки для продолжения рода, после чего, обессилев, умирают, как рыба на нересте. Имя острову дала нимфа Роза, дочь Посейдона от Афродиты, жена бога Солнца, вот почему здесь всегда солнечно. Три сына Розы и Солнца — Камир, Ялис и Линд — основали три одноименных города. Местные умельцы тельхины соорудили первых человекообразных роботов, выродившихся в лифты, самые медленные в мире: они замирают, подпрыгивают и лязгают челюстями. Отсюда известная поговорка: «Здесь Родос, здесь прыгай!» Некогда олимпийским чемпионом кулачного боя стал двухметровый родосец Диогор, поэтому столь популярен здесь колосс Родосский, но как он выглядел и где стоял — неизвестно.

Островом долго владела Византия, пока его не отобрали бездомные рыцари святого Иоанна (госпитальеры тож), изгнанные из Палестины сарацинами. В отместку началась война с мусульманами на море. После нескольких неудачных осад турецкий султан вынудил иоаннитов покинуть Родос, хотя рыцари стояли на стенах, как самовары. Они сохранили свои быстроходные галеры, знамена, архивы, найдя приют на крошечной Мальте. Над Родосом мерцал исламский полумесяц, чадил факел Муссолини и снова взошло солнце, осветив греческий крест».

«Надеюсь, Денис не истолкует нашу болтовню буквально», — сказал Тямлев.

«Вряд ли, твой сын все-таки», — ответила Саша. «Не мы его воспитали», — вздохнул Тямлев.

В письме не говорилось о том, что у Дома магистра на двери тихого особняка он прочитал: «Микаэль Родос, адвокат». Второй раз судьба подсказывала ему это имя, но понадобится третья подсказка, чтобы вспомнить.

Сын исправно поддерживал переписку. Вся его жизнь с шестилетнего возраста была известна отцу только с чужих слов: закончил Джорджтаунский университет, пишет компьютерные программы для социологов, благополучен. Виделись они только раз, на лету, в Париже, куда Денис приезжал на каникулы: веснушчатый студент в бейсболке козырьком назад (он сидел в ней даже за едой), молчаливый. «Мальчик дичится меня, — заметила Саша. — Я старше всего на четыре года».

В Вашингтоне Денис сошелся с тамошними русскими, стал ходить в храм Иоанна Предтечи, пил чай с протоиереем Виктором Потаповым, *взял курс* русской литературы, женился на Лене Павловой. Новобрачные решили слетать в Питер на трехсотлетие, потом завернуть в Бордо. «Напиши мне про Францию, я ведь не видел ничего, кроме Парижа».

Сочинять по горячим следам проще простого. А если следы остыли? Вот что получилось: «Французы серьезны. По будням они улыбаются женщинам, обмениваясь понимающими взглядами, а по выходным выходят бороться за свои права. Поэтому рабочий день здесь очаровательно короток, с перерывом на неспешный обед.

Французы едят, сидя на тротуарах. У каждого третьего под мышкой багет. Ибо предприятия общественного питания работают, когда есть не хочется. Разговоры ведутся о кино и литературе, вине и сыре, устрицах и лошадях. Кино можно снимать прямо на улицах без декораций и массовки: все те же аккордеонисты, клошары, завсегдатаи бистро. На Масленицу едят внушительные блины, изюм в шоколаде, пропитанный вином, называют сахарную вату „Папина борода“, переодеваются в женское или древнеримское платье, дети вылавливают из бассейна разноцветных пластиковых лебедей за уши. Рядом с университетом Бордо можно видеть белых и небелых мужчин в плиссированных черных юбках. Это официанты из местной ирландской пивной.

Французы любят собак и, веря в классовую борьбу, делят их на классы по габаритам. Чем меньше пес, тем больше у него прав. Крупным собакам запрещено ходить на прогулку с хозяевами в общественные сады, но иногда удается проехать в поезде из Бордо в Ла-Рошель. Во Франции красивые вокзалы, особенно в небольших городках, где их строят на вырост, а также канализационные люки замечательного литья.

Люди во Франции тоже разделены на классы, но не по размерам, а по происхождению и достатку. В Бордо их разделяет улица Виктора Гюго с Музеем Аквитании, где представлена история края от неандертальцев из Перигё до трансатлантической работорговли нового времени. По одну сторону улицы Гюго, около собора Святого Михаила, можно купить у арабов табличку „Улица Вокзальная“, маску из Габона, альбом о Санкт-Петербурге, пустые склянки, гнутые гвозди. По другую сторону от Гюго таких товаров нет, там предлагают столовое серебро, картины маслом, бронзовые лампы.

На площадях стоят памятники случайным людям, на углах видны названия переименованных улиц. Соборы хранят холод времен, когда их использовали не по назначению, и почерневшую живопись семнадцатого столетия. Под арочными мостами течет Гаронна. Плавать по ее водам цвета русского кваса не хочется, зато, стоя на мосту в солнечный день, можно рассматривать свою тень на мутной воде,

представлять, как она несется в недалекий океан, и балдеть, размышляя о переходе из бытия в небытие, из французского Бордо в тибетское.

От укреплений гугенотской Ла-Рошели остались стена и три башни. Посетителям демонстрируют рисунки и надписи, выцарапанные узниками на стенах. Культура ла-рошельских зэков восхищает: неприличный рисунок там только один, правда, очень большой, похожий на пушку с яйцами. Недаром потомки разбойников становятся адвокатами или нотариусами. Рядом — улица Белошвеек, которых так любил мушкетер Арамис. Чистоплотные дети ползают по тротуарам, никому не мешая».

Саша одобрила, но стерла про яйца.

Денис не спросил, а Тямлевы не написали о Сент-Женевьев-де-Буа. В последнюю неделю Великого поста они молились на русском кладбище в церкви Успения. Служил молодой батюшка, присланный из Киева. Переводила Марья Борисовна, чья чеканная французская речь плохо вязалась с собачьей шерстью на древнем пальтишке. «Я понимаю, — говорил священник, — в рабочих кантинах, где вы обедаете, постного вам не подадут. Это ничего. Старайтесь ограничивать себя в том, на что вы особенно падки. Кто любит сладкое, откажитесь, кто любит выпить, знайте меру, кто любит...» Тут он окончательно покраснел и замолк. Потом пили чай с позавчерашним хлебом — лепта булочника из Сент-Женевьев-сюр-Орж. Сбиваясь на французский, отпрыски второй волны просили найти родню («Был сослан в концлагерь на десять лет, но срока не выполнил и, кажется, был возвращен»), угощали плавленным сырком («Мы их всегда едим в Страстную неделю»).

Для большинства постсоветских визитеров русская церковь и кладбище давало повод умиляться *березовым отзвуком покоя* и повторять: «Поручик Голицын, здесь ваши березы». Но вечного покоя не вышло. Над Иль-де-Франсом пронесся ураган, тихие березы вывернули из земли могильные плиты, уронили надгробия и разнесли крышки гробов в щепы. Почему красных поддержала стихия — Натура, заголившаяся до пупа?

Уходя из Галлиполи в рассеянии, белые сложили курган в честь павших, вскоре землетрясение рассыпало его, словно детские кубики. Уменьшенная копия в Сент-Женевьев-де-Буа кое-как устояла перед ураганом. Зато другие могилы... Допустим, князь Юсупов — убийца Распутина, но почему стихия лишает покоя Мережковского, Бунина, Тэффи? Почему орудует кротким символом русской природы, как дубиной?

Ответа не знали ни барон Черкасов, ни князь Мурузи, ни Galitzine, ни Марья Борисовна, дочь кадета. Повторяли вслух имена белых вождей, поминали Кутепова и Миллера, украденных чекистами. Их могилы пусты: только надпись на камне, по-гречески — кенотаф. «От моих и того не осталось», — вздохнул Тямлев.

Мятлева-младшего русские парижане в один голос называли «поэт-монархист» («Владимир Петрович был убежденным членом Союза монархистов-легитимистов»). А поскольку Тямлев считался специалистом по всем Мятлевым, разговор неизбежно сворачивал на ближайшие виды российской монархии. Не желая вступать в споры претендентов, он спрашивал, а как насчет нового Рюрика, ну, скажем, монаха-байкера Кляйна. *Хольгер Первый* — это звучит, и тибетский профиль будет прекрасно смотреться на серебряных полтинниках и рублях. После недолгих раздумий Кляйн согласился, но идея не нашла поддержки даже у барона. Самого байкера больше занимали мотогонки на острове Мэн, родине бесхвостых котов. А может, призвать на престол Дурасовых-Дураццо, возводящих себя к Анжуйской и Бурбонской ветвям Капетингов?

Тямлеву прощали зубоскальство, ведь не государь отрекся от престола, а народ

отрекся от государя. Все отrekliсь, кроме витязя русской славы, первой шашки России — графа Федора Келлера, отказавшегося присягать Временному правительству. Граф обещал поднять императорский штандарт над Кремлем, но был убит петлюровцами. В память о нем, выпускнике пажеского корпуса, монархистам остался мальтийский крест, сначала белый, потом черный, траурный.

Петра затыгивала морская тема. Увлелась ей и Саша, особенно когда начала реставрировать модели китайских джонок для этнографической выставки в Бордо («Здравствуй, наша переплетчица, королева всех вещей! Реставрируй все, что хочется, кроме царства и царей»). Сашу привлекали устройство и конструкция, Петра — корабельные имена и судовые журналы с их затейливым, но строгим языком, умолчаниями, правдой и брехней.

Мировая история предстала в новом свете. Выяснилось, что в семнадцатом веке на всех морях господствовали флейты — голландские военно-транспортные суда, ходившие круто к ветру. На каждой флейте стояло нововведение — штурвал, облегчивший перекладку руля. Интересно было все: длина, ширина, осадка, грузоподъемность, парусное и пушечное вооружение. А военные шнявы петровского шхерного флота! «Шняв-мачта с триселем и гиком, пришнурованным передней шкаториной», — звучало как поэма Гомера в исполнении попугая Яши.

Шняву, построенную царем на Олонецкой верфи, окрестили «Мункер», то ли от искаженного французского «сердце мое» (петровское *минхери*), то ли в честь Мункера, мусульманского ангела смерти. Так нарисовалась тямлевская тема: морской язык в Российской империи. Французские работодатели одобрили, русское начальство не возражало. Дальше простиралось заманчивое, хотя и не очень научное пространство сравнений, аналогий, символов.

Взять, например, неявную переключку морских жемчужин-перлов. Вряд ли бронепалубный крейсер «Жемчуг» имеет отношение к «Перлу», которым командовал прапрадед Мятлева-младшего. Уцелевший при Цусиме, «Жемчуг» был расколот надвое германской торпедой в малайской гавани. Сонная англо-французская охрана приняла германца за своего, а вину возложили на капитана «Жемчуга» барона Черкасова, ночевавшего с молодой женой на берегу. Вспомним беспечную гавань другой мировой войны — Пёрл-Харбор. Что это — совпадения, игра слов, грозные предупреждения в духе Геры Дубина?

— *Мерхба, киф интом?* — встретили Тямлевых на Мальте. — *Тайбин, граци!*¹⁸ — не думая, ответил Петр и удивился: он понимает и говорит по-мальтийски. Одно дело в Андорре и Барселоне — лишний романский филологу-романисту не в тягость. Но тут семитский язык с безумным винегретом вместо лексики да итальянская пицца в придачу.

Петр вспомнил, как в школьной макулатуре (или это было в комнате пропавшего соседа) наткнулся на ветхую книгу без начала и конца, самоучитель неведомого языка, который он приспособил на роль *дарги* для вымышленной Даргнинелы. Гера Дубин живо включился в игру, но быстро остыл, а Тямлев еще с полгода выпускал рукописную газету «*Ilsien tad-Dargninel*», или «Голос Даргнинелы», с новостями, передовицами, рекламами, патриотическими стихами и даже рассказами. И вот на склоне лет оказалось, что даргнинельский *дарги* — это мальтийский *мальти*.

Пиратская конференция в Ла-Валетте шла своим чередом. Петр рассказал коллегам о путешествии боярина Толстого в Венецию и на Мальту. Жара еще не наступила, но энергичные кулики уже начали перелет из Магриба в Подмоскovie с привалом на острове. «Наши турухтаны, — опознала их Саша и, снисходя к тямлевскому невежеству, продекларировала голосом Гранмаман: — Герб Бибиковых. В щите, имеющем голубое поле, изображена птица турухтан, летящая в правую сторону». —

«А как считать, где право, где лево?» — спросил Тямлев. «Очень просто: встань на место рыцаря, держащего щит».

Электронное письмо Денису:

«Мальта вся изжелта-серая. Для колорита туземцы сажают левкой, цитрусовые и помидоры, разбивают виноградники и красят лодки в малиновый цвет. Первые мальтийцы жили в пещерах среди сталактитов и карликовых слонов. Пещеры до сих пор охраняют безобидные земляные пчелы, издающие мелодичное жужжание.

С незапамятных времен Мальта притягивала всех. Слоны и медведи, гиппопотамы и рогатые жуки перебирались сюда с Апеннин, худели и уменьшались. Слоны становились карликовыми слонами, носороги — карликовыми носорогами, саблезубые тигры — раскосыми мальтийскими кошками; только рогатым жукам было нечего терять. Люди, попав на Мальту, грызли камень, чтобы сохранить самобытность. Одни складывали плиты известняка в неизвестную еще большую букву П и запечатлелись как гиганты; другие рыли ходы вниз и неизбежно мельчали. Впрочем, капище в пещерном Гипогееуме высекали титаны. Итак, гиганты и карлики, о прочих наскальные фрески молчат. Немудрено, ибо красную охру для рисунков экспортировали с Сицилии, известной обетом молчания. За его нарушение наполняют рот галькой, а грудную клетку — свинцовой дробью из двуствольного обреза, употребляемого пастухами против волков, а мафией против болтунов.

Сицилия сыграла важную роль в истории Мальты. Когда бритоголовые османы появились под ее стенами в шишаках, с ятаганами и тюфяками (так они называли артиллерию), рыцари не дрогнули: турки уже выбили их с Родоса, больше уходить было некуда. Изнуренные поносом и упорством врага турки сняли осаду, а вице-король Сицилии напал на них с тыла. Так в Европе появилось множество увечных, о чем свидетельствуют закрытые шлемы нового фасона, имитирующие одноглазых, косоротых, слепых или просто мертвецов.

Наполеон завладел Мальтой без единого выстрела и ограбил, рыцарей выгнал в диаспору. Император Павел обиделся, принял сан гроссмейстера ордена святого Иоанна Иерусалимского и стал тратить на рыцарей по миллиону рублей ежегодно. Мальтийский крест был включен в герб Российской империи, но уцелел только на эмблемах Павловска, Гатчины и выпускников Пажеского корпуса. Несмотря на корабли Ушакова и громкую оду Державина, остров получили коварные британцы; после их ухода остались левостороннее движение и красные почтовые тумбы. Благодарные мальтийцы говорят по-английски, а на мальтийском шепчутся между собой. Овощи по-ихнему *гашиши*, любая рыба — *хут* (кит), Бог — *Алла*.

Именами католических святых названы улицы. Их статуи обоего пола помещены на углах в стеклянных шкафиках, хорошо обозримых с палубы туристского автобуса. О женской красоте: мальтийская доисторическая Венера породила устойчивую моду на толстозадых, коротконогих и безголовых матрон. Кстати, если наш рассказ хромает, разгадка проста: на Мальте много хромых и совершенно упоительные виноградные вина.

Среди вин, как среди русских, есть красные и белые. Вино „Мдина” не имеет отношения к городу Пророка, но к мальтийской католической Мдине, обители рыцарей и джентльменов. А вино „Караваджо” прямо связано с итальянским художником, который сбежал на остров после пьяной драки. Его хотели принять в орден, но он снова искалечил кого-то и — прощай надежды. На закуску мальтийцы предпочитают тушеную крольчатину, пирожки с горохом и другие национальные блюда».

Анонимный самоучитель школьных лет оказался не столь всемогущим, да и Петрушин *дарги* заржавел без употребления. Выручал английский. Улетали на зака-

те, подсветившем Ла-Валетту, как огни рампы. «Спокойной ночи, Мальта! *Иль-лейля тайиб!*» — «И вам того же. *Лейля коколь!*»

Летом Денис с Леной прилетели в Бордо из юбилейного Санкт-Петербурга. Высокие, кудрявые, худые, они держались за руки и улыбались. Видели мощи апостола Андрея Первозванного, привезенные на трехсотлетие. В Исаакиевском соборе служил митрополит Владимир, но они не попали, зато прошли с крестным ходом от собора до Дворцовой площади, где был молебен. «Выходит, Исаакий совсем рядом с нашим домом на Конногвардейском. Только где же трамвай?» Русская речь Дениса стала куда более натуральной: сказались поиски корней и женитьба.

«Возможно ли возвращение столицы в Петербург? — доверчиво спрашивала Лена. — Ведь президент Путин ленинградец». — «У Путина одно отечество — Большой дом», — ответил Тямлев. «Что такое Большой дом?»

Молодых изумили белые ночи, запахи сирени и канделябры конских каштанов. Денис ввернул скороговоркой вирши отца: «В ночи гуляют и живут, приспособляясь к полумраку; проводят под уздцы собаку, а на мосту огни растут. Под ним в блестящих завитках летают удалые лодки, меланхоличные молодки себя подносят на руках — бери меня, лихой пират, у лучшей в мире из оград! — и неожиданно завершил: — Поедем в Ла-Рошель?»

В Ла-Рошели за стаканом апельсинового сока Денис признался, что ему хочется создать электронную модель человеческого мозга, короче, изучить взаимовлияние ритмов мозга и ритмов языка — семантику информационного шума. Поэтому он не прочь сменить работу, место жительства и страну.

— Держи меня в курсе, — ответил отец и поделился сокровенным: — Меня стали занимать подсказки судьбы. В школе географию преподавал Феодосий Титыч, казавшийся нам глубоким старцем. Ну, говорит, иди к доске, Тямлев, делай свой доклад. А я, увы, забыл подготовиться.

Саша переглянулась с Леной и Денисом: тямлевский монолог набирал обороты. Харон, бросай свое весло! Мне так везло, пока несло.

— Делать нечего, ткнул указкой в карту мира, угодил в океан между Африкой и Америкой, нашел острова Тристан-да-Кунья, и пошло-поехало. Вывернул слово Ленинград и назвал страну Даргнинела. Население — дарги, смесь европейских, африканских и американских переселенцев. Язык — даргский. Столица — Риофонтейн. Живут ловлей омаров и сбором целебных трав. Вклад в мировую культуру: одомашнили дикую зебру и создали новый род войск — морскую кавалерию, с помощью которой победили Англию в антиколониальной войне за Тристан-да-Кунья. Денежная единица — руаль, по имени норвежца, открывшего Южный полюс. Государственное устройство — президентская республика. Климат суровый — постоянные туманы и штормы, благодаря чему острова изолированы от мира. «Да, — говорит Феодосий Титыч, — сколько появилось новых независимых государств!» — и ставит мне пятерку. Гера Дубин давился от смеха. На другой день я сообщаю ему, что вулкан извергся, дарги умерли под волнами: моя утопия утопла.

Тямлев выдержал паузу и заключил:

— А сейчас я обнаруживаю, что на выдуманном мной языке говорят на Мальте, а выдуманный мной президент Микаэль Родос пребывает одновременно в двух местах — в сумасшедшем доме Лозанны и в адвокатуре Родоса.

— На островах есть пурпурная камышница, издающая по ночам чудовищные звуки, — дополнила Саша. — Она оглушительно скрипит, стонет, подражает разрывам гранат и пулеметным очередям, ритмично подергивая головой и хвостиком.

— Не верю! — воскликнул Тямлев.

— Нет, правда. Жуткую музыку рожают маленькие ночные птицы.

Покидая Ла-Рошель, Тямлев купил сувенирную бутылочку, написал несколько слов на приложенном к ней листке, заткнул пробкой и швырнул в Бискайский залив. «Чтобы дошло наверняка, надо писать вороньим пером», — сказала Саша, но бутылочка уже плюхнулась в воду.

Увлечшись Даргнинелой, Тямлев забыл поведать детям о философском озарении, постигшем его на Мальте. От мирской суеты ведут две дороги — вверх, в горы, и вниз, в катакомбы. Первая — ближе к Богу, вторая — к преисподней. Но и на вершине можно устроить ярмарку тщеславия, как в Андорре, но и в подземелье можно дышать воздухом свободы, как на Мальте. А следовательно, нет отдельных учений и вер, а есть их сумма, обнимающая любую мысль прошлого, настоящего и будущего, включая их опровержения.

Постоянно слыша мальтийские слова *тайиб*, или — реже — *тамам* (хорошо, ладно, конечно), он вдруг понял, что это универсальный ответ на всякий вопрос. Хотел назвать сумму мыслей человечества тайибизм, но звучало неприлично. А тамамизм пришелся в самый раз. Тамам!

После второй — мальтийской — конференции стало ясно, что по финансовым соображениям уместно собираться раз в два года. Третью пиратскую бьеннале приняла Сардиния. Профессор Джузеппе Конту приветствовал гостей в Университете Сассари. Большинство, как Саша и Петр, оказались на острове впервые, и названия сардинских рек и городов им мало что говорили.

Стульев в аудитории на всех не хватило, студенты уселись на полу. Видимо, их заинтересовало название доклада — «Русские на галерах Мальты при Екатерине Великой». Не в силах расстаться с любимой темой, Тямлев живописал, как шестеро русских офицеров были посланы матушкой царицей на Мальту и без малого пять лет учились делу у морского волка — бальи Бельмонте.

Внимая мерному рассказу Диониса Диметриуса о христианских невольниках на турецких кораблях, их быте и песнях, Тямлев отстукивал на ноутбуке письмо сыну.

«Сардиния неисчерпаема, как всякий остров. Есть на ней гранитные и кристаллические горы, вулканические плато из лавы и туфа, реки и пляжи. Но лучшее создано руками — исполинские гробницы, уступчатый зиккурат, как в Вавилоне, и, конечно, *нураги* — конусы башен и вереницы каменных хижин из гладкого камня.

Древние сарды произошли от пресловутых народов моря, напугавших древних сирийцев и египтян, или от этрусков, которых наши мечтатели считают предками русских. Владели островом финикийцы, Карфаген, Рим, Византия, вандалы, арабы, испанцы и австрийцы. Потом Савойя, Пьемонт и Сардиния объединились в Сардинское королевство, а там — рукой подать до красных рубашек Гарибальди.

Испокон веков туземцы промышляют контрабандой, делают овечий сыр и смеются нехорошим сардоническим смехом, переходящим в добрый гомерический и наоборот. От укуса тарантулов местные жители дергаются в ритмических судорогах, известных всему миру как тарантелла. Здесь много ведьм. Они поют мрачные песни, напоминающие о кавказских застольях, и любят серебряные серьги в форме пауков.

По острову ходят игрушечные поезда; в Сассари, где мы заседаем, есть трамвай. При взгляде на муниципальный флаг соседнего Альгеро — желто-оранжевый матрас — сразу ясно: и тут не обошлось без каталонцев. Они заселили город при арагонском правлении, говорят на местном диалекте каталанского и называют Альгеро маленькой Барселоней. Так что на острове говорят по-итальянски, по-сардски и по-каталански. С примесью арабских, греческих и других слов. Мы же научили местных рыбаков русской морской команде „пей до дна!“. Так что наше пребывание на Сардинии не прошло даром».

Как обычно, в электронное письмо не вошло главное впечатление — обед в горной деревне, на родине профессора Джузеппе Конту. Поразил не стол, не речи и тосты, а один из официантов с бледным лицом, горящими глазами и характерным профилем. «Вылитый Бонапарт!» — не удержался Тямлев. Джузеппе подтвердил: «Очень может быть, Корсика рядом. Оттуда к нам бежал всякий, кто попал в беду, убил кого-нибудь или соблазнил чью-нибудь дочь или жену». — «Это не Бонапарт, а Гера Дубин», — уточнила Саша.

В Бордо на улице Дьё им приснился общий сон: рыжий кот в лодочке; на корме белым по черному выведено: «Хрен уйдешь!»

5. Даргнинела

Если бы у Тямлевых имелась семейная библия, он мог записать на последней странице: «В октябре 2006 года исполнилось полвека со дня гибели Ивана Владимировича Тямлева и супруги его Варвары Павловны Бибиковой; в том же месяце родилась их правнучка Варя». На зубок новорожденной подарили заветный империал; остальные фамильные реликвии пока оставались у Петра: тямлевский медальон с образком Николы Морского — на шее, бибииковские часы с выгравированным турухтаном — в кармане для мобильного.

За здравие и упокой молились там, где когда-то венчались, — в Никольском соборе. Под конец службы вбежал запыхавшийся Герман Дубин, поставил свечи с длинным шлейфом поминальных имен и увлек Тямлевых в кафе у Новой Голландии. Вокруг все менялось, на месте булочной возникло сразу два ресторана, японский и китайский, но кафе, стилизованное под манхэттенский бар, оставалось прежним: деревянные панели, старые иностранные плакаты и номерные знаки, недорогая водка и красная рыба с фасолью.

— Ну, — начал Дубин, — теперь ты дед, не Петруша, а двойной Петр Иванович, как в «Ревизоре». Помнишь, в чем разница?

— Добчинский немного выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского, — отчеканил Тямлев, как примерный студент.

— Вот-вот, был ты на бе, а стал на де, — заключил Герман, и стал развивать соображение о том, что русская литература занималась лишними людьми, а ГПУ — бывшими людьми, и хрипел голосом Высоцкого: — *Ну, а покойники, бывшие люди, смелые люди и нам ни гета*. Кто не догнал шутки юмора, я не виноват! — потом извинился за опоздание и спросил почти застенчиво: — Можно я вам напишу?

Вечером в квартире на Комендантском прочитали мейл. Герман сообщал, что еще несколько лет назад получил официальный список погибших на линкоре «Новороссийск». Там нет родителей Тямлева, но есть Полев Николай Васильевич, башенный командор, старшина второй статьи. Отчество, как выяснилось, записано неверно, в действительности — Петрович, как у Сашиного отца.

Саша звенела посудой, беседуя с Фирсом и аспирантом Лионелем. «Да, — подтвердила она, — у папы был старший брат Николай, служил на флоте и пропал в служебной командировке». Так не бывает, думал Тямлев, не бывает почти никогда (*квази ад* — перевел он последние два слова на даргский). Должен же быть в этом аду какой-то смысл? Водолазы говорят, что стук заживо погребенных был слышен до седьмого ноября.

Следующей осенью пиратская бьеннале пришла на берега Невы. Тямлев назвал доклад игриво: «Обломов на фрегате, или Иван Гончаров в кают-компании». Но аудиторию интересовал не фрегат «Паллада», а город на Неве как недолгая столица госпитальеров. Вроде бы уже отпраздновали двухсотлетие ордена в России, первый президент и первый олигарх уже получили по Мальтийскому кресту, но инте-

рес к рыцарям не стихал, а главное, не утихали споры о легитимности разных рыцарских организаций. Для зарубежных гостей знатоки из Эрмитажа приготовили лекции о графе Юлии Помпеевиче Литта, посланнике ордена, журившем Александра Пушкина за манкирование обязанностями камер-юнкера; рассказали о желании Павла Первого поднять мальтийский флаг на Черноморье с Балтикой и возродить рыцарские морские конвои. Любопытных свозили в Гатчину и Павловск, показали Воронцовский дворец на Садовой, творение Растрелли — приют мальтийских рыцарей, затем Пажеского корпуса и Суворовского военного училища.

Тямлев кое-как перевел на французский державинскую «Оду на принятие сана гроссмейстера Ордена и победу российского флота над французским в 1798 году». Стихотворцу и переводчику особенно удались мальтийские доспехи (*шумит по шлемам лес пернатый; серебром и золотом светят латы*) и хвала Павлу (*Властитель дум, любимый царь регет — и флот сквозь волн несется! Велит — и громом твердь трясется!.. Прострит он длань, — и все молзит*).

Рыцари молили императора спасти Европу от гидры безверия, воскресить душу рыцарств: *пусть радость препояшет холмы и процветет лицо морей!* Республиканская триада «Свобода, равенство, братство» толкуется Гаврилой Романовичем по-христиански: *В одной лишь вере есть блаженство, / В законах — вольность и равенство, / А братство — во любви Христа.*

Конференция перетекла в тямлевское шестидесятилетие. У франко-русской бюрократии, говорил опытный Клод Регур, самый неотразимый аргумент для финансирования — круглые даты, они же повод для увольнения и вывода на пенсию. Тямлева не уволили, более того — в честь него подготовили фестшрифт — научные плоды аспирантов и младших коллег вкупе с приношениями ровесников и уцелевших аксакалов. Тексты предваряла глубокомысленная физиономия героя, запечатленного на берегу пустынных волн Невы или Гаронны.

После смертного обморока на Масленой в Бордо Тямлев разлюбил обряд выпивки. Банкеты и застолья утратили былую прелесть, исчез кураж, выдохлись искрометные речи. Произошло то же, что с курением: еще студентом Тямлев обнаружил, что курит только на людях и, осознав, перестал курить вообще.

Дубин пришел на Комендантский, когда на кухне чинно пили зеленый чай под мерные звуки александрийского стиха: аспирант Лионель читал Расина, Тямлевы и японский гриб Фирс внимали. «Ифигения-офигения, — прервал декламацию Герман. — Вслушайтесь, как неблагозвучен французский для русского уха — *пердю, дебу!* — и обращаясь к Саше на „вы“, попросил: — Знаете что? Отдайте-ка мне Фирса, пока вы за границей. Я буду читать ему Сумарокова, а у вас будет повод зайти ко мне на Казачий». От чая отказался, хлопнул три рюмки подряд и выпросил папки с детским архивом Даргинелы, обещая отсканировать и вернуть.

Нельзя сказать, что после случая в Бордо Тямлев начал вести трезвую жизнь. Жизнь трезвей не стала. Опьяняла любовь, внезапные подсказки и новые места. Одним словом, как он срифмовал когда-то: подстановка себя в пространство упоительнее, чем пьянство.

На Крите оказались случайно: ни конференции, ни служебной надобности, ни знакомых. Можно бездельничать и просто дышать, смотреть, изъясняться безглагольно. Побеленная глина, необработанное дерево, синька, вишня — обычная средиземноморская палитра. Греческие вывески напоминают черновик статьи по классической филологии. В лавке среди сыров важно дремлет живой младенец в колыбели. Курлыкают и стонут голуби, цикады издают производственные шумы, будто циклюют полы. Светится двухлитровая бутылка рецины — желтая жидкость отдает смолой. Тямлев понюхал, посмотрел на свет, пригубил. «Если ждешь, что что-то будет, ничего не будет: настоящее приходит нечаянно», — думал он косноязычно.

В Кносском дворце знаменитые темно-красные колонны расширяются вверх. Первая канализация в Европе, первый театр, самый известный в мире лабиринт. Сохранилась мисочка, из которой питался Минотавр («Когда не было вкусных иностранцев», — шутила критянка Акриви). На фресках — первая коррида и первый тореадор Геракл, заколовший белого бычка, посвященного богу моря. Критомикенские дамы в черных вечерних платьях с декольте, обнажающем груди, три с половиной тысячи лет прыгают над быком в эротической чехарде. Нынешние девушки подражают им, но закованы в бюстгалтеры. С бетонных стен Ираклиона кривятся анархистские лозунги.

На острове Санторини уверяешься, что именно этот вулкан сгубил Атлантиду. Карликовые виноградники растут на лаве, как карликовые березы на вечной мерзлоте. Грозди выжимают ногами ночью, ибо дни в августе слишком жаркие, вино называется «Никтери», почти нектар, пища богов. Смертные на острове едят гороховое пюре и томатные блины, запивая белым вином. Пейзаж — ошметки Атлантиды: вулканические породы черная, белая, темно-красная. Часть острова отрезана, как кусок торта, и продана для строительства Суэцкого канала. В Музее древней истории выставлена керамика Кикладских островов — каждый сосуд гордо запрокидывает голову, как поэт Мандельштам. Дожди, испарина, влажность.

Местом новой пиратской бьеннале стала Венеция. Хотя деньги добывались нелегко: экономика Греции трещала по швам, французские университеты дрожали над каждым евро, цены в Венеции росли. К счастью, местный университет Ка'Фоскари бесплатно предоставил классы для докладов, причем не где-нибудь, а на Большом канале между Риальто и площадью Сан-Марко.

В Венеции особое эхо: вода преобразует все звуки. Венецианская речь подчеркнута мелодична, ее узнаешь в любой точке земли. Поддавшись общему тону, Тямлев пел о веселом киевском семинаристе, иже дошел, аки гоголевский Хома Брут, до начал философских и пустился странствовать без отцовского благословения, как Робинзон Крузо. Ушел из дома при Петре Великом, чтобы вылечить язву на левой ноге, а воротился при Великой Екатерине греческим монахом. Во Львове поступил в университет как католик, был разоблачен, назвался униатом и отправился в Рим пилигримом, лицезрел самого папу. Оттуда судьба забросила его на Восток. Двадцать четыре года кряду вел подневные дорожные записи и делал наивные, но очень точные рисунки. Прикинувшись мусульманским дервишем, проник в Большую мечеть Дамаска и зарисовал ее изнутри; увидев иглу Клератры, скопировал египетские иероглифы.

Море ошеломило пешеходца: «Волны морские, аки холмы великие, корабли же, иже издалега плывут на море, мнутся не аки на воде, но аки на земле стоят». О Венеции отзывается восторженно, дивясь карнавалу, или *баханалии*, когда горожане начинают шалеть и бесноваться и, нацепив на себя машкеры, наблюдают разные штукотворения: фокусы, силачей, живые картины, ученых обезьян и собак. На карнавале узнал о кончине императора Петра.

Из Венеции начался морской путь к Святым местам. В открытом море, казалось ему, что весь свет затопило. Он впервые сталкивается с дельфинами: видел, как поверх воды выскакивают и крутятся превеликие рыбы, которые там именуются дельфины, то есть морские свиньи: когда крутятся, то сопят или стонут, как свиньи. Когда он вернулся домой, мать не признала сына в чернобородом и смуглом греке. Через месяц с лишним он скончался от старых болезней. В гроб положили дорожные патенты и грамоты, которыми он так дорожил: ибо пилигрим без патентов как человек без рук, воин без оружия, птица без крыльев, дерево без листьев.

В обильных и бесхитростных записках Василий предстает перед нами не автором, а героем своего произведения. Его труд принадлежит старинной Руси, но свя-

зывает ее с новой литературой, ставящей жизнь сердца и души выше всего. Предвосхищая стиль Карамзина, он обращается к читателю, называя его любезным, трудолюбивым, благим, тщательным, благоразумным.

Тямлевских слушателей Василий явно заинтересовал. Симпатичный паренек с вислыми усами спросил: «Вы считаете Василия Григоровича-Барского русским?» — «Он сам себя так называет, — ответил Петр, — и подразделяет жителей Русской земли на *москвитов* и *малороссийгиков*».

Похожий на морского волка, седобородый искусствовед Аугусто Джентиле рассказывал нараспев о картине венецианского художника Витторе Карпаччо, изобразившего *каракки* на волнах.

— Что такое каракки? — вопрошал Джантите. — Это военные и торговые корабли, предшественники тяжелых галеонов, доставлявших американское серебро в Испанию. К 1462 году относится первое упоминание о французской каракке «Петр из Ла-Рошели», обшитой не внахлест, а владь. Через шестьдесят лет в Ницце спущена на воду громадная каракка «Святая Анна» для рыцарей госпитальеров, обшита свинцом, на пятьсот воинов. На ней были кузница, печи, ветряная мельница, камбуз и сад цветов!

Пошел дождь, город затянула молочная дымка. На площади Сан-Марко туристы прыгали по деревянным мосткам. «Тяма, — услышал Тямлев, — ты? Это я, Черныков». Перед ними стоял бодрый круглолицый старик с маленькой бородкой. Школьный приятель объяснил, что много лет живет в Нюрнберге на *социале*, а сюда приехал на экскурсию. «Присоединяйтесь к нам, — предложила Саша, — мы идем в гости». — «А там говорят по-русски?» — «Скорее, нет». — «Не могу отстать от группы, очень насыщенная программа», — и старик убежал.

Неожиданно в строгий пейзаж лагуны, искажая классические меры, въехал многоэтажный туристический лайнер, раза в три больше «Титаника». «Orde», — пропел венецианский голос за спиной. «Орды», — откликнулся Тямлев.

Их ждали в галерее «Italia viva» Сашины коллеги-переплетчики. «Петр», — отрекомендовался Тямлев. Имя вызвало неожиданную реакцию: переплетчики облегченно заулыбались: «О, тезка Кропоткина!» Оказалось, все они — юный Фабио и пенсионер Ромео, аристократ Эрос и даже испанский художник Ильяс — анархисты из ячейки Нестора Махно. Помимо любви к безвластию их объединяла страсть к переплетному делу — преобразению старых фолиантов и созданию новых шедевров. Лучшие образцы красовались в витринах, над ними висели эстампы и акварели Ильяса. Атмосфера была грустноватая: галерея закрывалась из-за нехватки средств. Но хозяева бодрились, угощали венецианским искристым, маленькими осьминогами, тертой вяленой рыбой, кашей из кукурузы.

— В советских фильмах Махно представлен как гротескный карлик, — упрекал Тямлева серьезный юноша. — Как на деле русские люди относятся к Нестору Ивановичу?

— Обо всех не скажу, но один из нашей семьи носил прозвище Махно с большим достоинством, — отвечал Петр, вспомнив легендарного кота.

— Где он сейчас? — поинтересовался аристократ.

— Исчез.

Все понимающе переглянулись.

— Наша вечная ошибка, — сказал испанец, — видеть в коммунистах союзника, из-за этого гибнут лучшие.

Смуглый пианист с острова Мартиника исполнил прелюд Рахманинова. Получился вечер русской культуры.

С наступлением сумерек город вздохнул: туристы схлынули, боясь упустить катер на Джудекку или поезд до Местре. Желтые огни дрожали в черной воде, вы-

рываая из тьмы горбатые мосты, тициановские лица, лаковые маски с птичьими клювами.

Новый год Саша и Петр встретили в Мадриде на площади Пуэрта-дель-Соль. Шумные толпы ряженных начали стекаться задолго до полуночи: на многих грубые парики — изумрудные, фиолетовые, красные, девушки в золотистых коронах, младенцы в колясках, дети постарше сидят на шее отцов и пускают мыльные пузыри. Чернокожая продавщица пива, шампанского и винограда увенчана горящими алыми рогами. Накануне полуночи все заорали в один голос, приветствуя гроздь воздушных шаров, отпущенных в небо. На здании Касса-де-Корреос грянули куранты, с каждым ударом люди съедали по виноградине, чтобы наступающий год был счастливым. Затем — взметнулся фейерверк, громогласный, как все остальное. Мордастые в сомбреро запели и не умолкали до утра. Утром мусор убрали, будто ничего не было.

У Саши было дело в библиотеке Эскуриала, Петр увязался за ней. Туман съел окружающий мир, оставив лишь контуры дворца. Каменные ступени и полы, каменные притолоки и дверные переплеты являли надменную скудость короля Филиппа. Бурбоном габсбургский стиль не пришлось по нраву, они тут не жили, а только хоронили своих мертвецов: тела держали в гробах, пока не истлеют, затем скелеты переносили в усыпальницу.

Мимо сумрачных полотен Эль Греко, Веласкеса, Рибейры, Тициана прошли в библиотеку, сияющую золотом, ибо книги на полках стоят золотыми обрезками наружу, чтобы не выгорали переплеты. На каждом обрезе выведены имя автора и название труда. Оказалось, что восемь веков назад король Альфонсо Мудрый сочинял на любые темы — от астрологии до кулинарии. Пока Саша шепталась с экспертами, вышло солнце, туман растаял, и мир предстал во всех деталях: горные вершины, одна — с белоснежной шапкой, лыжный курорт.

Съели паэлью из темного риса с чернилами каракатицы, запили белым «Фаустиньо» — привет от Альфонсо — и отправились в Долину павших, где под тяжелым крестом лежат сорок тысяч жертв братоубийственной войны. Мемориал был закрыт на ремонт, и Бог с ним. Тямлев разделял пушкинскую любовь к родному пепелищу, но не к отеческим гробам.

Денису с Леной он писал: «Здесь хохочут оглушительно, соглашаются: *вале*, здороваются: *оле*. У испанцев впалые щеки, асимметричные лица и эльгрековская небритость. У них выпадают мелкие вещи из рук и карманов. Щеголеватые старички повязывают лимонные шарфы. Уборщица, оставившая грязную посуду, хрипло кается по-латыни: *mea culpa*⁹. Статуя индейца на углу Калье-дель-Кармен оживает и ухает, если в жестяной бидончик бросить монету. На вокзале Ша-Мартин мы купили вам два самоцвета — черный кровавик от сглаза и фиолетовый аметист — любовь и привет».

Несмотря на вовремя съеденные виноградины, счастье не было безоблачным. В Лиссабоне умер их благодетель контр-адмирал, и конференция отложилась на год: бьеннале превращалось в триеннале. В России завертывали гайки, Путин готовился к пожизненному сроку, комсомольская дама, приятная во всех отношениях, уступила кресло невского губернатора православному чекисту-назначенцу.

Денис перебрался из Вашингтона в португальский город Авейру — создавать электронную модель мозга в разноплеменной команде русского физика Алекса Тамбовцева («Он, дэд, передает тебе привет»). Тямлев не сразу догадался, что речь идет о Тамбовцеве-младшем, прозванном Бичбаном за вечный насморк («Кем ты хочешь стать, мальчик?» — «Мичманом»).

После долгой отлучки родное пепелище выглядело странно. В общей разногололице гудели восточные звуки. По Конногвардейскому бульвару шел человек и врал

в мобильный телефон: «Я сейчас у Гостинки!» На каменном поребрике отдыхали китайцы, фотографируя друг друга. Асфальт испещряли трафаретные надписи: «Возврат прав из суда и ГИБДД», «Девчонки двадцать пять-тридцать лет», «Форум легальных удовольствий — Открой свой Амстердам!» — и номер телефона или ссылка на сайт. На этом фоне безадресный «Умри, режим!» выглядел репликой Дон Кихота. Рядом с бывшим тямлевским домом открылись ресторан с красивым названием «Гимназия» и кафе с сомнительной вывеской «Ля Русь». Кондуктор троллейбуса повторял: «Оборвались провода! Сворачиваем на площадь Труда», не замечая, что получают стихи.

У Благовещенского моста на Неве серый круизный лайнер заслонял Английскую набережную, как туфля Гулливера, превращая город Петра в Милдендо, столицу Лилипутии. Впрочем, облака в небе и чайки на воде, гранитные спуски с грифонами, египетскими сфинксами и стройной фигурой русского кругосветного мореплавателя Крузенштерна остались прежними, вечными.

Тямлевы съездили в Смольный сад, где под кустом боярышника закопан попугай Яша, и в Александро-Невскую лавру на могилу Гранмаман. Пересеклись с разгневанной Верой Оболенской: «На Пасху еду домой! В ваших церквах невыносимые старушки — нарочно ходят выговаривать: не там стоишь, не так глядишь!»

Лязгнув дверью маршрутки, кто-то требовал ответа у молодого водителя-узбека: «До Таврика подкинешь?» — узбек не понимал, пока не объяснили, что Таврик — это Таврический сад, Гостинка — Гостинный двор, Васька — Васильевский остров. Пассажиры говорили о непонятном, о какой-то Вайенге, певицы с глухонемыми людьми. Доехали до Казачьих бань, над которыми обитал Герман Дубин.

На фасадах — разномастные вывески: «Восстанавливаем любые документы», «Льготная стерилизация и кастрация по субботам», «Эротический массаж и боевые восточные единоборства». Герман встретил в халате: «Извините за кавардак, Лиза ушла, не могла видеть, как я повреждаюсь в уме». Телевизор соблазнял: «Мужчины! Для вашего сексуального здоровья необходима йарса-гумба. Йарса-гумба работает на вас!» Радио вещало: «Министр спорта Камчатки из-за болезни пока не арестован. Власти Северной Кореи обвинили Запад в подготовке теракта против статуи Ким Ир Сена». На экране компьютера шел телеканал «Дождь».

Стены завешаны фотографиями, вырезками, плакатами. «ООО Кустарная мебель Граф Дубин. Применяя серебрение, роспись по золоту, искусственное старение, наши мастера творят шедевры. Граф Дубин возрождает комфорт и благородство предков». Поймав Шашин взгляд, Герман хмыкнул: «Да, пытался обогатиться, торговал фамилией, но затупил — кинули. Знаете, как в русском бизнесе, наехал — отъехал, наехал — отъехал! Опять-таки в Казачьих банях приобрел зависимость от игральные автоматов и все спустил до нитки».

На порыжевшем сукне ломберного столика сверкала огромная банка с Фирсом. Перед ней — открытая книга и стопка даргинельских ксероксов. «Читаю ему „Дети капитана Гранта“, — кивнул Герман на банку, — он любит про воду». Налил Тямлевым зеленого чая в пиалы, себе — водки: «Ну, за приливы и отливы!»

Вспомнили Конногвардейский бульвар, под которым почти два века незримо течет Адмиралтейский канал, взятый в каменную трубу. Вспомнили мальтийские кресты павловских кавалергардов, не устерегших своего императора. Дубин сетовал на жизнь. Все переменялось: вместо почтового отделения — ресторан «Град Петров» (каких Петров?), вместо общественного туалета — кафе-бар «Викинги», в университете — казарма, ректор — султан, окруженный визирями: на любой чих требуется визирование. Но спасают люди, ибо, как говорил Кропоткин, люди лучше учреждений. «Иногда лучше, иногда хуже», — скучно подумал Тямлев.

— Гниют кирпичи Петропавловской крепости, — сокрушался Герман. — Что

наша жизнь? Замерзло — растаяло, замерзло — растаяло. Так что подморозить Россию навечно никак не удастся — все равно созреет. А может, не созреет, расцветет? — обратился он к Фирсу. Выпил, закусил и еще больше пригорюнился: — Дамбу закончили, конец наводнениям, больше не скажешь: «Мосты на Неве по брюхо в воде». Почему ты не стал большим поэтом? — внезапно укорил он Тямлева.

Тот ответил:

— Чтобы стать поэтом, надо любить и страдать, а я только люблю.

Саша улыбнулась.

Прощаясь, Герман спросил:

— Который час, тамбур-лямбур? — и тут же отвлекся: — Я, на минуточку, начал сочинять рифмованные идиотизмы, вот: «Поскольку я еще не помер, то на харчах не сэкономил». Каково?

Пиратская триеннале собралась в задумчивом Лиссабоне. Португальская грусть зовется *саудади*, это светлая печаль, кружение одинокого сердца, песня судьбы — *фаду*, негромкий голос, охрипший на морских ветрах, гитара как лютня, невидимый дождь. Светится голубоватая и лимонная глазурь изразцов, меланхоличные трамваи скользят вниз или вверх по звенящим рельсам.

Барон Черкасов дремал на докладах в Музее мореплавания, просыпаясь только ради Тямлева, которого полюбил за восстановление семейной чести своего пращура, капитана «Жемчуга». В кафе «А Бразилейра», глядя на скульптуру литератора Фернандо Пессоа, барон вертел в могучих руках стопку и горевал: «Друзья и соратники мои почил в Бозе, я же, оставив все жизненные попечения, не оглядываюсь назад, но размышляю о духовном». После того как умер Galitzine, Черкасов начал склоняться к буддизму.

Саша с пиратами отправилась на вечер фаду, а Петр остался в гостинице вычитывать срочную корректуру. Собственный выбор удивил его, он вспомнил кумира довоенных сюрреалистов драматурга Раймона Русселя, объехавшего весь мир. В Китае Руссель заперся в гостинице и писал. На рейде острова Таити даже не выглянул в иллюминатор. Покончил с собой во Флоренции, тоже, наверное, не рассмотрев ее. У русских после падения Берлинской стены — обратный синдром: все увидеть, везде отметить и вывесить фотки в фейсбуке.

Ночью Тямлев проснулся, чтобы записать:

О любимой вспоминаю перед сном,
уходя на глубину, как старый сом,
в сон, чтоб видеть сны о том, как там, на дне,
и она, должно быть, грезит обо мне.

Любимая спала рядом. «Сколько времени?» — пробормотала она, не раскрывая глаз.

Чистый звук колокольчика разбудил адресата бутылочной почты. Память начала возвращаться к нему еще в Лозанне на докладе русского филолога: он вспомнил свое имя, представился и задал главный вопрос; русский не очень понял, но отозвался верно. После выхода из лечебницы он, импозантный пенсионер, сидел на берегу Женевского озера, наблюдал гонки лебедей и думал о прожитой жизни, о том, как должно ее завершить. В ушах раздавалось: «Мой язык — дарги, мой танец — бардо, мой девиз — вечность». Перед глазами стоял бело-голубой щит, обложенный коричневыми лангустами: два альбатроса отбрасывают синие тени, над щитом рыцарский шлем с каравеллой вместо плюмажа. Ясно одно — путь ведет к воде.

Может, его выписали слишком рано? Когнитивный старичок психиатр, впрочем, уверял, что память легче восстанавливается в миру. Вокруг попадались люди,

хранившие какую-то общую тайну; он узнавал их живой взгляд в толпе остановившихся лиц.

Некоторые подходили и говорили: «*Мерхба! Кемм хин?*»¹⁰ Он отвечал. А один заметил: «Анфас вы моложе, чем в профиль».

Живя в Швейцарии, он свободно владел французским, немецким и итальянским, знал английский и почему-то русский. И еще: неведомый язык, на котором с ним заговаривали, был для него как родной. Эти звуки снились ему по ночам вместе с зебрами, старухами, птицами и рыжими котами. Проснувшись, он записал кириллицей: «*Геннини-л-боск. Ма нистаагибш йекк накта вина у йинзлю ходорилктар тад-дмийа*». Это значило: «Лесные дубравы сводят меня с ума. Не удивлюсь, если вскрою вены, и оттуда хлынет зеленая кровь». Следом приснилось длинное стихотворение на том же языке — «Славянский марш»: «Я был славянином, с нервами крепкими, как струны балалайки, распятой вниз головой. Кровь сочится дымящимися ручьями лавы — русскими, украинскими, польскими, словенскими и словацкими, чешскими и сербскими, казацкими; болгарскими, румынскими, хорватскими. Кто меня выкормил? Не волчица ли своим молоком, пропахшим водкой и слезой, когда я был славянином».

Набрав строку в Интернете, он узнал, что стихи написаны не им, а мальтийцем Акилле Мицци, переводчиком Пушкина. Мальта была очень важна, ведь слово это означало «убежище», здесь открыли, как обмануть дьявола: у времени должно быть два циферблата — правильный и неправильный, пусть враг рода человеческого не знает, по каким часам начнется месса. Важен и черный мальтийский крест, составленный из четырех ласточкиных хвостов, но за Мальтой стояло нечто большее — другой остров.

Он почти ничего не знал о себе, кроме имени. Ввел в поисковик: Michael Rhodes. Выскочили американские тезки из Миссисипи, Индианы, Нью-Хэмпшира, Оклахомы, Арканзаса, все значительно моложе его, а он твердо помнил, что родился в 1930 году, ведь в роковом 1961-м, когда все переломилось, ему было тридцать. Не дождавшись отклика от самого пожилого из тезок, решил искать на Michael Rodos (в документах писали то так, то этак). Бинго! В Ричборо, штат Пенсильвания, обитал восьмидесятипятилетний патриарх, окруженный родней. Но и тут не проявили интереса к однофамильцу, отправив, по всей вероятности, его сообщение в спам.

Кого он искал? Родственников, двойника, альтер эго? Серебряный колокольчик прозвенел, когда он наткнулся в русском Яндексе на Микаэля Родоса, президента Даргнинелы. Он увидел крутые холодные волны, черные камни, гору Королевы Марии и черное озеро в кратере вулкана, напоминающего малахитовый пень. И сразу же: дым, пепел, лава, белые чулки и грубые свитера островитян, брошенных на чужбину.

Дальше начинались сюрпризы. На сайте были выложены листы рукописной газеты «*Isien tad-Dargninel*» с объяснениями. Его поразили бедность газетного языка и грубая ложь комментариев. Начать с того, что название архипелага образовано не от города Ленина, прочитанного справа налево, какой Ленин? Знающие знают, что имя происходит от града Елены, вернее, трех Елен, трех роз: великой княжны — дочери императора Павла, великой княгини — супруги Михаила Павловича и, конечно, святой равноапостольной царицы Елены Константинопольской. Русский язык для перевертыша был избран из уважения к рыцарю на русском троне. Это случилось на пятнадцать лет раньше, чем городу Петра навязали псевдоним, — следом за извержением тысяча девятьсот шестого.

Второе — никакой войны Даргнинелы с Великобританией за острова Тристанда-Кунья не было и не могло быть, ибо это один и тот же архипелаг, а Риофонтейн,

не нанесенный на карты, и есть известный географам Эдинбург Семи морей. Хотелось внести ясность, но, не дописав абзаца, он захлопнул крышку ноутбука. Кто дал ему право разглашать общую тайну?

Тайна островитян заключается в том, что их остров — пуп земли, вернее, пуп океана, недаром отсюда более трех тысяч километров до Южной Америки, чуть менее — до Южной Африки и две тысячи сто шестьдесят один километр до острова Святой Елены, могилы Наполеона. Тайну охранял орден островитян планеты Океан, главой которого вот уже полвека с лишним был он, Микаэль Родос.

В этих водах никто не бросал якорь добровольно, как говорил ученый Паганель в «Детях капитана Гранта». Выращивать капусту, лук и тыкву островитян приучил миссионер Доджсон, брат Льюиса Кэрролла, творца Алисы, страны чудес и Зазеркалья. Картофелины заменяли деньги: за четыре больших клубня можно было купить выпуск газеты «Tristan Times» или почтовую марку.

С чужими островитяне говорили по-английски, отбрасывая, как лондонские кокни, начальные h: «Ow you is?» Между собой говорили на дарги. Знающие были в каждой из старых семей — среди американцев Гласов и Роджерсов, англичан Свойнов, голландцев Гринов, итальянцев Репетто и Лаварелло, русских греков Родосов. Из эвакуации вернулись не все: так образовалось мировое рассеяние даргов.

На контрольных осмотрах лозаннский психиатр толковал о лоскутной памяти, спрашивал, не ищет ли больной утешения в алкоголе и не чувствует ли себя палимпсестом, древним скобленным пергаментом, на котором пишут заново. «Скорее палимпсестом наоборот, — думал Родос, — с меня смывают наносное, обнажая исходный текст». «Развлекайтесь, путешествуйте», — советовал когнитивный старичок. Повод для странствий обнаружился незамедлительно.

— *Ир-рисала, синьур.* — Быстроглазый дарг протянул ему бутылочку с бумажкой. — *Иш-шорти ит-тайба!*¹¹ — и исчез.

Послание на ломаном дарги напоминало весточку капитана Гранта детям или приглашение Дон Гуана статуе командора: Родос был зван на ужин без указания времени и места. Тогда, в Ла-Рошели, Тямлев сам не знал ни того, ни другого.

Главное — отыскать место. Историческое Средиземноморье представлялось тупиком — от золоторунного Понта до игольных ушей проливов и Геркулесовых столпов, не говоря уже о парилке Красного моря с предбанником Баб-эль-Мандеба. Притягивали Балтика — гиперборейское средостенье и первые морские врата материковой державы — Петербург. В городе на Неве Родоса удивили вывески, чаще всего попадались «Двери» и «Ключи». Он увидел: ярмарка тщеславия здесь еще не победила, сквозь избыток случайного отчетливо проступает ветхий умысел Творца. Даже коммерческая аббревиатура ООО читалась как Order of the Ocean, Орден Островитян Океана. Итак, путь от Женевского озера вел к океану.

Бутылка с посланием пахла водами Ла-Рошели, чернилами Бордо — выходом из внутренних морей Старого Света в Атлантику. Родос спустился к Гаронне дорогой паломников с улицы Dieu и понял, что это que Adieu — стезя прощания у тесных врат спасения. Но где же сами врата? Серебряный колокольчик зазвенел, когда он наткнулся на случайное объявление: «Ботаническому саду в городе Порту требуется опытный садовник». Слепец, ясно же — когда Венеция, царица средиземных водоемов, передала атлантическую эстафету Португалии, в Старом Свете осталось только одно место для встречи.

Дождь перестал, солнце тут же высушило камни, и туман опустился на город. У буйно разросшихся суккулентов Родос кормил огненных рыб, населявших пруды ботанического сада. На газонах вместо обычной травы поблескивал лилейный хлорофитум. «Кому я дарил цветы в юности? С кем проводил ночи?» — вопрос прозвучал, как строка из дамского романа, и голос произнес:

Она плясала на балах
 среди мундиров и растений,
 не отражаясь в зеркалах
 и не отбрасывая тени.
 Ни черт привычных, ни примет,
 чужая страсть полузабыта.
 Чу! нетопырь летит на свет,
 чугунные стучат копыта.
 Так догорает не горя
 украденное у кого-то,
 и серой кажется зря,
 и серой тянет от кивота.

«Интересно, кто это сочинил за меня? Уж не Фернандо ли Пессоа, местный создатель целой толпы выдуманных стихотворцев?» Родос привык разговаривать сам с собой, задавать вопросы, на которые не было ответа. Или один ответ — там-там!

Из дверей ювелирной лавки на Ларго-де-Санту-Домингеш Тямлевых окликнули:

— Биотр Ифановитш? — На улицу выскочил былой Марчелло Мastroяни — тямлевский аспирант, а теперь доктор Адиб Агтар, хозяин лавки, счастливый супруг Мафальды Родригеш. Все это Адиб успел рассказать, пока грудастая Мафальда разливала чай из серебряного самовара в граненый хрусталь, одетый серебром. — У нас лучшее серебро в Португалии, тончайшая филигрань! — восклицал Адиб, подхватывая светлый колокольчик, упавший с полка, и вручая его Саше. — Подарок от фирмы. — Раздался мелодичный звон.

— В тибетском буддизме этот звук означает духовное слияние, — сказала Саша.

— У друзей тоже, — отозвался Адиб. Но его интересовали материальные вещи. Что слышно о сундуке с серебром, утопленном в пруду подмосковной усадьбы Олсуфьевых в 1812 году? Красавица графиня Дарья Васильевна, вдова черного князя Боргезе, очень переживала утрату. Правда ли, что аренда двухкомнатной квартиры в бывшем доме Тямлевых на Конногвардейском обходится в три тысячи евро ежемесячно? И наконец, что будет с серебром Нарышкиных: супницами, ложками, самоварами, обнаруженными этой весной на улице Чайковского?

Тямлевы направлялись во дворец де Больша, Торговую палату с залом Наций, украшенным старинными гербами, среди которых — двуглавый российский орел. В Арабском зале Аллах неуверенной арабской вязью благословлял правление Марии Второй, королевы Португальской и Бразильской, известной на родине как Благочестивая, а за океаном — как Безумная. На крутых ступенях их ждали Денис и его шеф, младший Тамбовцев по кличке Бичбан.

Спустились туда, где Дору медленно текла в океан, выбрали столик на открытой террасе.

— У людей теплые лица, значит, здесь нальют бакастик, — объяснил Бичбан и заказал у официанта самогон *багассу*, не значащийся в меню, и *бакаляу* для всех. В ожидании заказа он рассказывал о том, что кальмара надо варить, бросив в кипяток винную пробку для вкуса, что португальцы не едят укропа, зато на Пасху устилают им и красными полевыми цветами дорогу к жилищу, чтобы колядующие дети и священник знали, где их ждут.

Золотистую бакаляу Тямлев встретил словами поэта Олейникова:

— Тебе селедку подали. Ты рад. Но не спеши ее отправить в рот. Гляди, гляди! Она тебе сигналы подает.

— Это не селедка, а норвежская треска, — уточнил честный Бичбан, переходя к

главному: — Как вам понравилось у нас в Авейру? — От университета в памяти остались только гордые бакалавры в черных мантиях и смиренные первокурсники — жертвы дедовщины — в пластмассовых ведерках вместо шляп.

Прозрачный бакалик чокнулся с зеленым чаем, и Бичбан продолжил:

— Человек — самая сложная система во Вселенной. Чем занят разум? Строит модели мира, превращая мысли в вещь, знак или звук. А мы с Денисом строим модель разума, опираясь на ритмы мозга и речи.

— Знаешь, дэд, что натолкнуло меня на поиски связи между звуком и смыслом? — улыбнулся Денис. — Твое стихотворение. — Он продекламировал:

Относительно фонем здравый смысл обычно нем.
На Руси фонема «О» не означает ничего.
По-французски «О» — вода, а по-русски никогда.
Но чтоб озвучить слово «Бог», этот звук не так уж плох.
Вот и окает волгарь, протопоп и пономарь.
Образ Бога в лоне вод водит вечный хоровод.

«Это же Чижик-пыжик», — ужаснулся Тямлев, но смолчал.

На звуки русской речи подошел человек в ветровке.

— Фоминцев, капитан «Благовеста», — представился он. — Был в Лиссабоне на вашем докладе об именах российских кораблей. Интересно, где планируется седьмая конференция?

— На островах Тристан-да-Кунья, — неожиданно ответила Саша, играя серебряным колокольчиком.

— Если найдем деньги, — сказал Тямлев.

У капитана заблестели глаза:

— Доставлю вас туда в лучшем виде. О цене договоримся! Запомните — катамаран «Благовест». Корпус пять миллиметров титана, места хватит всем. — Фоминцеву налили бакалика. Он поднял тост: — За настоящих морячков, у которых, как говорится, задница в ракушках! Чтобы никто не считал нас за ветошь расходную!

Темнело, по небу летали крупные молчаливые птицы, садясь на памятники к своим каменным двойникам. С реки мигали фонариком: капитана призывали на борт.

6. Эпилог

Родос шел на званый ужин. Он знал — сегодня Тямлев всемогущ: все, что задумает, исполнится, все, что сделает, удастся. Жаль, что Тямлев об этом не подозревал и ничего особенного не делал и не задумывал.

Разгоряченный зеленым чаем, Петр Иванович рассуждал о вариантах гибели цивилизаций. Первый — Атлантида: надменный град заливают лава и вода. Второй — Китеж: праведный град спасается от зла, начиная подводную жизнь. Третий — Амстердам: достаток и безопасность ниже уровня моря за оградой плотин. Так создан аэропорт Скипхол — самый глубокий в мире, так осушили озеро Польдер, чтобы сажать тюльпаны и гиацинты, а их стеблями кормить молочных коров.

— Ну а Порту? — спросил Денис.

Саша раскрыла ладонь, на ней посверкивала небольшая раковина морского гребешка:

— Из Порту — рукой подать до Сантьяго-де-Компостела.

— А что, — загорелся Тямлев, — возьмем посохи и фляги и махнем к святому

Иакову, покровителю странников и всей христианской Иберии, зайдём в университет и музей галисийской этнографии.

— В музей ковров по рисункам Гойи, — сказала Саша.

— И по рисункам Рубенса, — добавил Денис.

— Не забудьте купить шляпы пилигримов, — заключил Бичбан и спросил: — Сколько времени?

Тямлев достал часы с летящим турухтаном: обе стрелки застыли на двенадцати.

Застонали струны, возник горбоносый скрипач:

— Не желаете ли музыки, сеньоры?

— Что-нибудь даргинельское, — потребовал Денис.

Горбоносый тотчас заиграл, и все запели: «Нас ненавидят тираны, тигров свободной страны. Собственных ран ветераны, мы — Даргинелы сыны».

Пение донеслось до Родоса, когда он, неловко склонившись, затягивал развязавшийся шнурок. Этого смешного куплета не было в гимне Даргинелы, самом коротком в мире. Но вот зазвучал подлинный текст, который поющие воспринимали как припев: «Сколько времени? Полдень верности. Сколько времени? Полночь вечности».

Вспомнилось, что перед самым извержением вулкана островитяне нарядили корову зеброй, напаялив на одуревшее животное полосатый балахон. Он подумал: обаяние бытия — в непредсказуемости, настолько полной, что иногда предчувствия сбываются одно за другим, пока не сойдешь с ума и тебя не накроет *адова вода* — что слева направо, что справа налево. Взойдет ли над ней заря новой жизни?

Скрипачу заплатили, он исчез, сверкнув очами. Расходиться не хотелось. Тямлев листал карту напитков, там действительно не упоминался багассу, зато было вино «Курва», напомнившее о питерской корюшке бабы Ньюши.

Мимо заброшенного дома с заколоченным окном, на котором висела декоративная паутина из веревок, двигалась процессия ангелят с бумажными крылышками, распятием и свечами, детские голоса повторяли нараспев: «Amen Portugal».

Родос снизу разглядывал сидящих на террасе. Русский филолог из Лозанны шуршал меню, черноглазая женщина вертела белую ракушку, очкарик изучал схему города, кудрявый улыбался. На скатерти бело-голубая птица играла с колокольчиком, под столом рыжий кот терзал вяленую рыбу. *Аугури!*¹² Он видел некий свет. Но почему они смотрят сквозь него, не узнают, не окликают, не приглашают за стол?

«Всё вобьем в один объем, не заметим, не поймем», — отозвался Денис тямлевским чижик-пыжиком.

¹ «Песня пиратов», «Девушки Ла-Рошели», «Морской волк» (франц.).

² Благая ночь, святая ночь (нем.).

³ Если ты можешь это прочитать, значит, ты не весси-дурак! (нем.).

⁴ Налог на недвижимость, налог на проживание, налог на прибыль, налог на роскошь (франц.).

⁵ За СССР! (франц.).

⁶ Musée cantonal de design et d'arts appliqués contemporains — Кантональный музей дизайна и современных прикладных искусств (франц.).

⁷ Дословно — улица Бог (франц.).

⁸ Добро пожаловать, как поживаете? — Спасибо, хорошо! (мальт.).

⁹ Моя вина (лат.).

¹⁰ Добро пожаловать! Сколько времени? (мальт., дарг.).

¹¹ Письмо, месье. Удачи! (мальт., дарг.).

¹² Счастья вам! (мальт., дарг.).